

№ 4

1999

в номере:

Олег Григорьев
Кирилл Кобрин
Владимир Набоков
Виктор Пелевин
Лиля Поленова
Вадим Пугач
Татьяна Толстая

КОНТР

русская литература

ПУНКТ

взгляд из Америки

**ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПОДПИСНОГО КУПОНА**

Subscription Coupon*

For individuals

\$48 (12 issues)

\$30 (6 issues)

For institutions

\$72 (12 issues)

\$42 (6 issues)

\$8 (a trial copy)

.....
Name

(please print)

.....
Address

Apt.

.....
City

State

Zip

(.....)

.....
Telephone

E-mail

**Please enroll me as a subscriber to Kontrapunkt
from 1999
for issues**

Send a copy of this coupon with a check
(pay to the order of Kontrapunkt Publishing House, Inc.)
at: **Kontrapunkt, 258 Harvard St. #374,
Brookline, MA 02446**

* prices valid in USA only

КОНТРАПУНКТ

Ежемесячный литературный журнал

**№4
1999**

Бостон

КОНТРАПУНКТ

Журнал основан в 1998 году

Издатель: Kontrapunkt Publishing House Inc.

Почтовый адрес:
258 Harvard St. #374,
Brookline, MA 02446

Телефон: (617) 232-4366
Факс: (617) 713-0418
E-mail: editor@k-punkt.com
Internet: <http://www.k-punkt.com>

Главный редактор
Михаил Володин

Редакционная коллегия:
Александр Генис (Нью-Йорк)
Наум Коржавин (Бостон)
Александр Кушнер (Санкт-Петербург)
Игорь Померанцев (Прага)
Дина Рубина (Тель-Авив)
Татьяна Толстая (Москва)

Редакторы: Л.Поленова (русс.яз.), Е.Крейн (англ. яз.).
Корректурa – И.Каган. Верстка – В.Тубельский.

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за достоверность информации и использование
в произведениях имен людей и названий организаций лежит на авторах.
Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы могут быть перепечатаны из журнала только по согласованию
с редакцией. При перепечатке ссылка на “Контрапункт” обязательна.

© Kontrapunkt Publishing House Inc.

© Идея, название и обложка журнала “Контрапункт” – Михаил Володин.

© Авторы.

АРХАНГЕЛ

Татьяна Толстая

Это — отрывок из романа, а может быть — обрывок, начало без середины и конца. Как человек, привыкший медленно писать короткие тексты, я чувствую себя неловко, отдавая в журнал нечто незаконченное, неприлично молодое, находящееся, так сказать, в становлении.

Я и сама точно не знаю, что будет дальше, — одни планы и варианты. Впрочем, по размышлению, оно и ничего: весь «Конфузский» тоже журнал, находящийся в состоянии — ни, тоже неформально естественной, тоже открытым себе — меням, вершинам и возмозностям. Тут же расписанный роман печатается в расписанном журнале: глядишь, что-нибудь и расцветёт.

Публикуемый отрывок даёт достаточное представление о круге тем романа. Я не хочу, естественно, пересказывать содержание ненаписанного, но если бы мне нужно было предпослать ему эпитафию, я бы выбрала строки Максимилиана Волошина:

*Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.*

Татьяна Толстая
июль 1999

Времена наступали: это было заметно по многим признакам. Ну и, кроме того, он же все время смотрел на календарь. Он мог бы и не смотреть, ведь календарь, или таблица умножения, или музыкальная гамма, или светящаяся, волшебная последовательность радужных цветов (это не надо, не надо, это очень болезненное), — в общем, все эти удобные человеческие списки и каталоги всегда с тобой, здесь, в голове; ты носишь их с собою как невесомый, полезный груз, невидимую полевую сумку, укладку, портплед. Если надо — в одно мгновение извлек, развернул свиток (тень шелеста вощенной шелковой обертки), сверился: ага. Мы вот тут. Ясно.

Но иметь календарь, перекидной настольный, а лучше плоский висячий, все же как-то весело, удобно, немножко смешно и как бы соблазнительно. Эти клеточки с нарастающими кучками цифр, эти субботы-воскресенья, набегающие мелкой кружевной волной к правой стороне листа, как утренняя, еще мирная рябь на краю ленивого океана, как японские, загибающиеся завитками, стайками путешествующие облачка — какой смешной соблазн. Понедельник — ну что такое понедельник? Как будто бы он и вправду есть? — никакого же понедельника на самом деле нету, а вот просто просыпаешься, или, вернее, тебя опять сюда выбрасывают, и опять неподвижным куполом стоит над тобой вот это голубое, и лениво ходит теплый ветер, и шевелится трава, и ты опять сладостно и мучительно распят в своем всегдашнем всегда.

Нет никакого понедельника, ни вторника, ни пятницы... а вот воскресенье, наверное, есть. Да, только воскресенье и есть. С краю, на белом обрыве меловой бумаги. И на том спасибо.

А тут стали опять появляться в продаже двенадцатилистные настенные календари, как бы висячие художественные альбомы, и качество печати отличное, и не так дорого. Он думал, печатают в Финляндии, — такие чистые краски. Нет, наши. Это приятно. Могут, если захотят. Так все всегда говорят, такой разговорный рефрен, “хорошо сидим”, или

“что хотят, то и делают”, или вот “могут, если захотят”. И это ничего не значит, да и кто эти “они”? Но если прислушаться... Если склонить ухо, и затаить дыхание, и не смеяться, и внимательно-внимательно прислушиваться... тоненький звук, такой нежный и высокий, и прерывающийся, и слабый, но определенный... Такой тоненький, что в сравнении с ним писк комара был бы трубным гласом, нет, духовым оркестром в летнем парке, нет, Краснознаменным ансамблем песни и пляски Советской милиции — всей советской сразу милиции, с ее эстрадно-безвредным топаньем смазных сапог, посвистами, приседаниями и казенным потом синих шерстяных шинелей. Этот тоненький, нежный звук — неужели?.. Да, должно быть, это сигнал... “Могут, если захотят”... Если смогли — значит захотели. Там захотели — и тогда тут смогли. Там захотели. Там начали. Да и пора.

Он купил себе один такой календарь в коммерческом магазине, — но теперь же не разберешь, который коммерческий, который не коммерческий. Это тоже смешно. Пустые слова. Может ли магазин быть некоммерческим? А каким тогда? И зачем тогда? Там даже был выбор, это тоже теперь бывает. Он рассеянно перебирал разложенные на прилавке образцы книжонок и альбомов (это тоже новый сервис: можно трогать руками, думать пальцами, а раньше было бери что дают и скажи спасибо и на том). Ему было немного неприятно касаться завернутых ушей нечистых уже страниц, это было, наверное, как выбор по фотографиям девушек в борделе средней руки, — “наверное”, потому что он никогда не был в таком борделе, а только читал и хотел, а сейчас, говорят, и бордели открываются, один валютный, на Кировском, на частной квартире, близко, и надо бы сходить. Поинтересоваться. Общественное достояние — да; засаленные уголки — да, да, да, конечно, все знаю, и чуточку брезгую, но как раз в таких местах и возможна Встреча. И когда листаешь эти захватанные экземпляры... — терпи, это ничего. Зато потом скажешь: “Мне тогда вот эту, пожалуйста... Я вам плачу или надо пробить?...” — и равнодушная дева снимет с полки девственный экземпляр выбранной тобой книжки, незнаемый и нетронутый никем, только твой,

но такой же, как у всякого, и ты, чувствуя легкую иронию всего этого дела и ритуально обменяв одну пачку цветных бумаг на другую — “заплатив” это называется, — приобретешь и унесешь, и пойдешь себе домой через мост, и по проспекту, и под тополями, и отразишься в вымытых стеклах витрин, и увидишь большую бирюзу мечети, пупок ее купола и эрекцию минаретов (сколько же вас тут, ребята?), и, ощупывая локтем приобретение, туманно подумаешь: это как мусульманин, должно быть, перелопатив в земной жизни кучу несовершенных, скоропортящихся и им же самим захватанных дев, чаёт в мусульманском своем раю невесть за какие заслуги получить свежую, скрипуче-чистую, радостно-черноглазую гурию прямо в целлофане, на тебе, ешь ее, для тебя старались.

Он перебирал это книжное сало, сам чувствуя, что его прозрачные на концах пальцы, какие бы поручни, перила и дверные ручки ни касались с утра их кожи, все же как-то чище этих страниц. И это было утром, часов в одиннадцать, и свет был водянисто-золотой, как всегда весной в этом городе, и от этого света все дома, каменные и оштукатуренные, тоже казались чуть прозрачными, как молодая кожа, а в сущности, так оно на самом деле и было. Затем я здесь и живу, напомнил он сам себе, — он знал, но напоминать было надо, — затем я и здесь, а не в Москве, например, хотя мог, мог... и даже в каком-то смысле — во многих — там удобнее ждать, но здесь зато ближе. И, надеюсь, скорее. И не надеюсь, а знаю. Просто ожидание так мучительно, так затягивается... а в Москве пульс глуше, стены толще... реки — одно название, что реки, что-то смехотворное... С отвратительными именами: Клязьма, Яуза... клизма и язва. И почва там ужасная: тугой сальник глины, купеческий, тяжелый тук, беспробудный сон с храпом, теплая вонь непроветренных нор... О нет, нет! Надо быть здесь, Бог мой, о чем разговор, конечно, только здесь! Здесь ждать прихода времен.

Он попытался мысленно, как часто делал, увидеть Петербург сверху, это было трудно, но на минуту можно. Эта река, как рука с дюжиной прозрачных водяных пальцев (как он любил ее запястье с часами Литейного моста! а это

чудное обручальное кольцо Троицкого, да, он опять Троицкий, вот и чудесно! — а мизинчики Фонтанки и Мойки со всеми их золотыми колечками и цепочками, Боже мой, Боже мой!). А там, где рукав, — суровая пуговица тюрьмы, а напротив голубая с золотом запонка Смольного собора; все правильно, точно как рука! Он забылся, и засмеялся вслух, тихо, и закрыл глаза, и оступился, — отдал чью-то ногу — на него зашипели, толкнули в бок, обругали, он извинился, упал с неба — простите. Простите. Виноват. Весна, знаете. Голова даже кружится, такой воздух. Извините, ради Бога.

Вот тут он глянул вбок на прилавок и увидел календари. Вот эти, висячие. Тоже образцы, с гряздой по каемке. Он сразу потянулся, пугаясь: не ошибка ли, и как это странно: продавать календари весной, когда уже четверть года прошло. Впрочем, у нас все так, пляжных тапочек раньше сентября в продаже не сыщешь. Перебрал: “Георгины” — невыносимо; кошки... Передвижники. Голые бабы. Съедобные грибы средней полосы. Другие голые бабы. Суровые русские писатели, все такие бородатые и нахмуренные, как будто крестьян так и не освободили, хотя он же прекрасно помнил, что освободили... Прерафаэлиты. Так.

“Вот это я возьму”.

Календарь стоил, казалось, великие, неподъемные тыщи, а если посмотреть на дело с другой стороны, только четыре доллара, хотя и это слишком, но не очень слишком, и прекрасная печать. Все эти тыщи у него, наверное, с собой были, он не считал их так пристально, как много лет подряд считал простые желтые рубли, он так же, как и другие граждане, был нафарширован тыщами так, что думалось о новых фасонах брюк, где было бы больше карманов, — все мы ходим как некупленные еще чемоданы, пышно наполненные раздувающей нас бумагой — чтобы казались толще и, значит, здоровее, а пока мы ходим и ходим, эта бумага невидимо, незримо, неощутимо теряет свою ценность, как бы легчает, истончается, бледнеет... и наши груди и бедра — у кого где карманы — обманчиво пухнут, распираемые пушистыми сорняками рублей. А посмотрите какого цвета эти новые купюры — розовая дымка, лиловатые тени, белые апрельские воды! Земные деньги становятся водою, и скоро сквозь них можно

будет видеть звезды — разве не трепетный это знак наступления времен?

И значит ли это, что за календарь сейчас надо заплатить дороже, чем неделю, две недели назад? То есть его ценность растет? Или она падает? — не хочу ничего понимать, думал он, пока заворачивали “Прерафаэлитов”, но чувствую маленькое радостное головокружение: наступают времена.

А то бывали дни, когда он лежал плашмя, на спине, на мягкой своей, но очень высоконогой койке, как на козлах — он сам ее соорудил, переделав из раскладушки и того, что он условно называл верстаком, — соорудил и поставил так, чтобы, не вставая, видеть из окна своей мансарды закат и залив, — закат часто бледно-желтый, с мучительными нитями чего-то лилового, нерожденного, не могущего быть рожденным. Он лежал плашмя, смотрел и ждал — и закат был пуст и светел, он был опрокинут в залив, и залив тоже был пуст и светел, чуть темнее заката, как всякая вода темнее воздуха (но только до поры). И эта пустая светлота тлела за окном часами, не решаясь погаснуть, пожалеть и отпустить, а может быть она была и не в силах отпустить его, может быть, это она смотрела в его глаза, которые в эти часы тоже были пустыми и светлыми, и тосковала, и чего-то ждала от него, а он не отвечал, не откликался, ибо это в нем было пусто, мучительно, желто, и ничто не рождалось, кроме каких-то нитей, сгустков и прядей, словно все в нем выскребли и стенки его души все еще сочились, но почти уже не болели. Он лежал на своих высоких козлах, одетый ровно и мято — в эти годы ему хотелось быть неряшливым часто; словно бы так было легче, лучше, или как если бы он просил прощения и в доказательство раскаяния предьявлял скудость своего рубища — вот это все, что я себе оставил, — так, прикрыться; не стяжаю, не алчу, не вождедею. Он смотрел и думал, как все это будет на этот раз. Как это начнется? Какой будет знак? И будет ли? А вдруг... то, что было в прошлый раз... вдруг это был последний шанс? Маловероятно; ну а вдруг? А вдруг? Что тогда?

Он помнил, как сквозь воду, как это было тогда. Как он почувствовал Присутствие, сразу, без предупреждения, словно дикий зверь, терпеливо и уже почти безнадежно вы-

ходящий — в который раз — из мертвого леса, на мертвый холм, мертвым зимним вечером вдохнуть мертвого зимнего ветра; безнадежно поворачивает он морду к югу — и вдруг... Господи. Не может быть. Это Оно. И, проснувшись в одно ударившее мгновение, с ревом радости, захлебываясь, больно и сильно вдыхает он в себя этот, еще холодный ветер, глубоко, до паха, вдыхает, только чтобы не потерять, затянуть в себя вот эту, одну-единственную молекулу весны, первую, случайную. И сразу же, словно бы кровь, семя, все безымянные желтоватые сыворотки наотмашь, водяным кулаком, вышибли разум, осторожность, расчет — ну что там еще? — сразу же, с ревом, взбрыкнув, сорвавшись с места, напролом.....

Господи, что он делал. Господи, ЧТО он делал!... Чего он только не делал... И эти — десять, двадцать — сколько их было? кто считал? — лет, безрассудно, безрассчетно, в угаре, хватая где мог, давясь, торопясь, не прожевывая... Ведь сколько Их тогда было... Десант...

Тогда у него не было ни плана, ни стратегии. Сам виноват. Но сколько Их было... Казалось, хватит на все случаи, на каждый день. И надо было — теперь он понимает, теперь ему кажется, что он понимает — осторожно выслеживать из засады, вычислять, следить за передвижениями, составить внутреннюю карту и расписать для себя подробно все маршруты; подумать и сообразить, кто из них главнее, а кто — так... мелкая сошка, не стоит траты времени. Он вспомнил одну... глупость, тоже... В одиннадцатом году — нет, в двенадцатом... неважно, перед войной. Это было в Озерках, в ресторане... то есть он уже выходил и закуривал, прикрывая огонек ладонью и в то же время косясь по сторонам, чтобы не упустить... это очень удобно делать, когда закуриваешь... все думают: вот господин, он закуривает... а она прошла мимо, даже как-то не прошла, а ее продуло мимо как если бы ветром, как если бы она была без плоти... он весь напрягся и дернул голову в ее сторону... она почувствовала спиной и замедлила шаги... он нагнал. У нее были черные волосы, очень гладкие, разделенные посередине белым до непристойности пробором, он подумал что это ему что-то напоминает, но не был уверен, что именно; но он смотрел, вол-

нуясь. Глаза ее, больные, безумные, тоже очень черные, были, что называется, прекрасны, или, наоборот, странно-нехороши; зрачки метались и плясали, словно бы не в силах удержаться на месте, или как если бы она, зачем-то, близко склонившись, следила за быстро мелькающей мошкаррой. Он слышал, что это так бывает; считается какая-то болезнь, но мало ли что считается болезнью; сейчас модно быть нервным, дань эпохе; пусть. Не знак ли это; вот что важно-то. Он заговорил, отводя руку с сигарой, чтобы не пускать даме дым в лицо... брови ее поднялись в сумерках под низко отбрасывающей призрачную петербургскую тень шляпой... не ответила, но засмеялась; это тоже ответ; входили в еловую аллею; он воровато оглянулся; грубо схватил за локоть; на ощупь она оказалась неожиданно мягкой. Это знак; он стиснул крепче. Не здесь... силуэт извозчика: он кликнул извозчика... Тень от шляпы стала чернее, голова запрокидывалась, между цветом лица и цветом луны не было разницы; это знак; она опять стала смеяться. Он смотрел ей в рот, в зубы: при свете луны зубов как будто бы не было; от шеи ее пахло сильно, цветочно и пряно. “Да? Да? Это ты?” — спросил он глухим, не своим каким-то голосом; она все смеялась. Оно все смеялось, и он силился разглядеть, есть ли зубы; “Это ты?? Возьми меня! Слышишь?! Возьми меня!” Она не говорила слов; он хотел слов; он стал выдавливать их из ее шеи руками, и как будто бы стало получаться; тут же оказалось удобнее сползти на пол, под скамью, и там, под скамьей, в неудобной и кривой позе, он давил шею. Было как если бы он ловил тугую, убегающую змею-альбиноса; она все убегала, он все удерживал. Жопа извозчика заслонила луну, и тени стали совсем резкими; змея больше не убегала. Он прислушался и испугался. Что-то вышло не так; что-то ужасное. Змея больше не шевелилась, и луна пятнами проплывала, чередуясь с чернотой, в открытом рту. Он понял, соскочил на мягкую белую пыль шоссе... Кажется, он немного подвернул ногу — нет, вроде бы ничего... Возница ничего не заметил, коляска с шорохом шин уносилась в сужающийся еловый конус аллеи.

Утром, на террасе гостиницы, он быстро, воровато просмотрел газету: уголовная хроника?.. Нет, еще рано, конеч-

но. Но глупо, глупо... Это могло быть Оно. Шанс. Но Оно не захотело, или отвлеклось, или не узнало его, а может быть просто затуманилось винными парами, как это часто бывает, или же повернулось к нему не той стороной... Оно его не признало. Ну что ж... Другой раз!

... Да, много было чепухи и ошибок. Но это как-то все получалось само, время было такое. Угар. Именно: угар. И все не находилось времени остановиться и обдумать планы, потому что с утра, как вставал со сна, его несло на улицы, вот в этот угар, и немудрено: Их было столько... И шансы были так огромны! И он не заметил, как все это стало иссякать и кончаться, а он все еще никого не нашел, то есть он как раз заметил, и разволновался, и стал спешить, и от этого еще больше стал ошибаться и путаться, это понятно. Под конец уже никого не осталось, а времена иссякали; он сходил с ума, его била дрожь, и дни его проходили в злых слезах и нервическом отчаянии, а потом Они схлынули. Все. Разом.

Он лежал на козлах и смотрел на закат. Может быть, будет так: вот это желтое, желтое с мазками лилового, с лиловой пустотой, вдруг — в зените, или ниже — как бы дрогнет. Глаз его не успеет поймать это движение, но что-то внутри него замрет. Потом еще долго, долго ничего не будет, но в плоской пустоте проявится, проснется как бы гулкость. Это услышит только он. Во-первых, его козлы ближе всего к небу, ну и, кроме того, он ждет сильнее, чем кто-либо. Ему нужнее.

Потом — через сколько-то единиц так называемого времени — часов или минут — что-то опять дрогнет. И он успеет на этот раз поймать краем глаза этот сектор желтой пустоты и будет смотреть, смотреть на него, не мигая, пока кровь не проступит из глаз. И поначалу словно бы мошкара. Или как эти точки в поле зрения, которые он, столько раз обманываясь, принимал за Них, но это, как теперь понятно, всего лишь точки, тупой мусор, несовершенное устройство зрительного органа.

Он замрет, — он уже сейчас чувствует, как он замрет. У него почти остановится сердце, чтобы глупым своим стуком не спугнуть этой желтой тишины. И мошкара станет

расти и расти, и вот уже ясно, что это не мошкара, это не мошкара. Эт-то не мошкара-а-а. И вот вдруг на подкладке бледного зарева — стая красных, как бы кровавых лебедей. И издалека, слышные лишь ему, его чуткому уху, — трубные их клики.

Они сразу пропадут, затеряются в возне и шорохе, в автомобильных гудках, выкриках, шумах, гулах большого вечернего города. И никто не узнает. И никто не увидит. А кто случайно и увидит — не поймет. Мало ли...

Так будет... Потому что наступают времена, свершаются сроки, приходит Их время.

Потому что он теперь точно знает. Он следил и вычислил. Он смеется: он понял. Он не знает, почему, он не уверен, для чего, но он затаился и следил за их привычками, и он все понял. Они прилетают сюда раз в столетие, перед тем как истечь ему, перед тем как толстая цифра, похожая на крест, или крест с рогаткой, или крест с рогаткой и палками, задрожит, сдвинется и сменится другой, следующей. Они, может быть, прилетают это отпраздновать. Вот как люди празднуют новый год: садятся в автомобиль, или поезд, а раньше — в коляску, а еще раньше — прямо на коня, а иногда на других людей: в носилки, или паланкин, или что подвернется и что принято и, захватив с собой вина и еды, отправляются в хоршее место, чтобы смеяться, и не спать, и следить за ходом времени, и стрелять из пушек, и вопить, и посыпать друг друга цветными бумажками, и делать всякие глупости, которые все в эту ночь очень одобряют, — вот так же и Они, как раз перед полночью века, махая крылами, которые кажутся ему кровавыми на закате, изгибая лебединые шеи, подбадривая друг дружку трубными кликами, летят сюда на свою вечеринку, чтобы, рассыпавшись по земле, слиться с толпой, превратиться, притвориться, затаиться и отпраздновать что-то свое, что-то такое, смысл чего он знал (а как же), но забыл.

Ну да. Он здесь слишком давно.

Он вставал со своей койки, просто чтобы размяться, подходил к окну, садился на подоконник и смотрел в закат. Он помнил и знал других, которые любили это делать, он ревниво читал их смутные записи о том, что открылось им в закате; он знал и тех, кто, прочтя, как и он, эти записи, на-

чинал беспокоиться, пить вино, бродить по улицам и смотреть на небо. Он знал, что с желтоватого неба на них, как и на него, смотрела в ответ ошеломляющая пустота, и тогда они начинали пить еще больше вина, и кричать, и плакать, и писать в тетрадках в клеточку свои ничтожные каракули с соображениями относительно всего этого, и выражать свои невнятные чувства в мутных словах, и иногда погибали от вина, и слез, и сопутствующих вину и слезам горестей и болезней.

Но ему нельзя было погибать — он как бы давно уже погиб, хотя он забыл, что это значило, а когда пытался припомнить, то в голове как-то все путалось, а когда очень-очень сильно старался — то в звенящей пустотой голове его оставалось только желтое небо, и лиловые охвостья несостоявшихся туч, и кровавые лебеди, которые еще не прилетели, но которые, он знал, должны, должны, должны прилететь с минуты уже на минуту.

И еще он заметил — по прошлым их прилетам — что они появляются лет за пять, шесть, что ли, до смены цифр, до страшного этого поворота, в последний как бы момент, а улетают или как-то иначе исчезают — лет через пятнадцать после гонга. Еще он заметил — или вспомнил, — что они портят что-то в ткани времени: как будто бы после них, как после небрежных постояльцев, остаются дырки в стенах от вынутых и унесенных гвоздей, вырванные волосья электропроводов, а то круглые и неустрашимые подпалины, как на полированной мебели от горячей чашки. После них остается помет — иногда целые белесые горы, резко и волнуяще пахнущие, хотя и не всем нравится. И кому не нравится — тот сильно кричит против этого помета, и указывает, что это безобразие, и требует убрать, а некоторые пишут против него целые книги и диссертации, доказывая, что от него масса вреда, и он заразен, и все такое, а еще некоторые даже убирают его, свозят в одно место и жгут. А те, кому нравится этот запах — а это что-то вроде гниющей воды, ирисов, хвои, гноя, ладана и чего-то еще — не совсем так, но трудно сказать точнее, — те тайно сходят с ума и тайно же сберегают, воруют и прячут душистые ошметки, и не расстаются с ними, даже если их, этих безумцев, расстреливать

— что неоднократно и делали, но, в сущности, безрезультатно.

Еще он с отчаянием заметил, что Они легкомысленны, невнимательны, неблагодарны, словно бы глуповаты, не умеют выслушать, легко отвлекаются, особенно на игрушки и блестящие предметы, никогда не знают, который час и какие с этим часом связаны правила и обязательства, опаздывают, врут, следуют как приклеенные за совершенно неподходящими и ничтожными людьми, а если пытаешься их одернуть, остановить, удержать или объяснить, — огрызаются, как хорьки и, в сущности, совершенно невнушаемы и непредсказуемы, а когда капризничают, то себе же во вред. Он заметил, что они — или, скорее, *оне*, если бывают женщинами, а вернее, проступают в женщинах, — потому что как же иначе можно пройти по эту сторону темного стекла? — не бывают счастливыми, хотя и очень стараются. Если же они проступают в мальчиках, то они словно бы растеряны и недолго живут в своем хозяине; разволновав и смутив Носителя, они рано исчезают, оставив за собой разрушенный, тоскующий, порочный каркас, и такому нет покоя до самого Ухода, и все внутри его скручено как жгут.

Они проступают, в ком хотят, и тогда замечаешь, что молодые стали моложе, бледные — бледнее, и под кожей у таких видится глубина, словно тело стало свечой или яблоком, а в глазах, в мгновенном их случайном промельке, чудится прозрачность, словно бы там, укрытый за хрусталиком, прячется второй зрачок, как голубая протайна, как окошечко, как кружок, что продышали на туманном стекле, чтобы летучая сущность такого вот, проступившего, меньше мучилась среди теснин и узилищ дольного мира, его камней, глины и бревен, но оглядывалась бы, когда захотела, назад, туда, где Вода, и Поляна, и в тенисто-солнечной сети воздухорослей игрится аль ма ор ля лю ли ле зчщщчжщщфжжщ===== _ _ _ _ _ _ _ _ .

И они смотрят Туда, и чудно бывает поймать их взгляд, чуть блестящий и как бы пустой, когда они бывают не совсем здесь, когда они засмотрелись на То, — вдруг, без предупреждения, на улице темной, среди шумного бала случайно, в электрическом сне наяву, да мало ли где!.. Мало ли где и ког-

да их настигнет прихоть окунуть око в воздушную прорубь... и нет для них преграды: ни кирпичных стен, ни плоских небес, ни мыльных слов земных языков, ни ороговевших звуков человеческой музыки! И вот тут надо — он дрожит, весь дрожит внутри, — вот тут надо, не медля, сейчас же, со страшной какой-то внутренней скоростью, перебирая ногами, словно у тебя сорок ступней, а тебе догонять звенящий, уносящийся, все набирающий скорость трамвай, — тут надо, зорко полыхнув тысячью глаз в тысячу сторон сразу (нет ли подвоха, не споткнусь ли), надо броситься на такого, как раз когда он уходит, начинает уходить; броситься с воем и отчаянием: “Возьми меня! Возьми меня!!! Забери меня с собой!.. Ну?!...”

Но они его не брали; никогда не брали.

То ли они пугались его шерстяной, чешуйчатой сущности, — обмылком выskalывали из его рук, рыбкой порская в сторону, оставляя лишь доступное, но ненужное тельце Носителя, мальчика ли, женщины, не-разбери-какого-рода подростка, — перепуганную, зареванную, всю в соплях тушку: “Вы чего это?! .. Дядька, вы чего?!” То ли он не успевал, и они совершали Уход, как та черная, в еловой аллее, с луной в зубах. То ли он все же обманывался — ведь покровы так плотны, — и проступивший был изначально слаб и незрел, прозрачен и летуч, слишком летуч и слаб, чтобы забрать отсюда Его — одичавшую, бесконечно тяжелую, мохнатую тварь, всю в пролежнях от тысячелетнего ожидания на сгнившей соломе, на вонючих подстилках, всю такую изъязвленную, с сосульками съеденного вокруг морды и лепешками извергнутого вокруг нечистого зада. Кто потащит такого сквозь игольное ушко, кто, согласно смеясь, ухватит прозрачными ручонками и потянет, потянет, потянет, не брезгуя, всего его, с его брюхом, пахом и подмышками, с мусором и налипшей сранью!.. То ли он что-то делал не так.

Лежа на верстаке, высоко над Петербургом — опять Петербургом, не знак ли это? — он смотрел туда, на закат и залив, и замирал, опершись на локоть, забыв о времени, пока укол уставшего нерва и замолкание онемевшей руки — от мизинца и вверх, вверх наползает маленькая тупая смерть,

как тень, — пока телесный этот сигнал не заставлял его, тяжело вздохнув, переменить свое положение в пространстве. Тогда он ложился на спину и порой запрокидывал голову назад, свесив ее с козел, так, чтобы мир перевернулся и чтобы залив — с далекой мошкаррой торговых кораблей на нем — завис в небе над бездной заката. Там, далеко внизу под ним, в Гавани, на Васильевском острове, и дальше, на Петроградской стороне, похожей на обедневшую дворянскую вдову, придерживающую в хамской толпе дрожащей рукой последнюю приличную шляпку, и на Островах, блаженно-прозрачно-весенних, пусть и загаженных бляшками партийных дач, блядскими румянами увеселительных парков с колесами смеха и зеркалами хохота, и на согбенной от фабричных трудов Выборгской, и на дворцово-мундирной стороне города пышного, среди стройных зданий, обведенных синяками сумерек, там, где Фонтанка, как царевна в гробу, и Мойка, как хорошенькая ее служанка, и дальше, и всюду, где зыбкий отсвет воды пал на лица, на руки, на мелькание ног — всюду, всюду вечерний шепот, тихий смех и блеск, и ожидание, и предчувствие, и роение, и начинание, и кружение, — там, внизу, а может быть, это наверху, — но гаснет и еще больше пустеет желтоватый свод, и близнец его наливается собственным цветом, серым, синим, и словно бы вздох, или судорога проходит по всему извилистому хребту вод, и наступает вечер, и вот уже проклюнулся кончик звезды, и гудит за стеной лифт, и у соседей свистит чайник, и сгущается темнота, и всякая земная тварь оплотнилась, огрузла, вздохнула, тупо смотрит, и хочет низкого, и каменеют стены, и мир снова тюрьма.

— Дмитрий Евгеньевич!.. — ему постучали в дверь. — К телефону!

— Иду, иду!.. Щас.

В этой, теперешней жизни его звали Дмитрием Евгеньевичем, и, действительно, ему удобно было думать о себе как о Д.

Календарь с Прерафаэлитами он повесил в простенок, напротив своего наблюдательного окна, рядом с фанерным шкафом-буфетом, фантазией ранне-сталинских лет. Шкаф этот был такое чудовище, что даже Д. его замечал, хотя обыч-

но свою мебель не замечаешь, привыкнув с детства. Сложно распланированный, нарезанный и нарубленный на неравные, но одинаково неудобные отсеки, в которых нельзя было разместить ничто человеческое, не помяв и не изуродовав, он казался в полутьме избитым, перекошенным и ухмыляющимся лицом негодяя. Справа вверху у него были как бы зубы, они же слепой глаз, заросший деревянной шерстью, и часто, без причин и приглашений, шкаф отваливал одну из своих многочисленных створок, как если бы ему становилось душно и он поправлял слишком тугой ворот армяка, или распускал кушак, а то и расстегивал ширинку. Он как бы сам мучался, и мучил других, и тот, кто им владел, вскоре озверевал от непонимания, куда же, куда тут нужно впихнуть чашки, приткнуть рубашки, вклепать книжки или размазать пальто, и как бы это приложить, или подвесить, или свернуть дедушкины кавалерийские сапоги. Д. терпел шкаф, но не любил, а теперь вот повесил рядом с ним Прерафаэлитов, и эти несовершенные цветные картинки, пусть плоские, пусть глянцевые, все же осветили стену, образовали своего рода окно, затеплились слабым намеком. Так в мерзлой и замшелой избе пленник, задавленный глухотой бревен, почти задушенный каждым углом их мертвого, тупого схождения, все же поворачивается к слепому пятну малого оконца, затянутого рыбьим пузырем: сквозь муть и синь его угадывается — да, он там — ночничок — да, это он, да, — ночничок звезды, блаженной и невинной.

Теперь и чудище, никем не поцелованное, и Прерафаэлиты, преобразавшие сам воздух вокруг себя в поцелуи, вместе смотрели в одну сторону, туда же, куда и Д., — на закат.

Д. знал, что он был Падшим Ангелом, а вернее — Архангелом, по счету — пятым. Всего Архангелов пять. Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил; Д. — пятый. В земных книгах пишут чушь, придумывают и накручивают что хотят, послушать людишек, а вернее — почитать их безответственные и нахальные книжонки — так Архангелов — пруд пруди: якобы Азраил какой-то, Натанаил... Бред. Не стоит даже раздражения. Нет, их пять, вернее, когда-то было пять, — чу-

десно, неразрывно, симметрично, полноценно соединенных вместе, подобно пентаклю — волшебной, совершенной фигуре, впоследствии, разумеется, опошленной и опоганенной людишками, как водится, до безобразия. Пентакль не более похож на так называемую “звезду”, которые они рисуют где не лень, чем прерафаэлитская Офелия — вся в цветах, уплывающая по ручью, — на пьяную бабу с Московского вокзала, вышедшую поживиться отбросами мужичья ночью к поезду 0.40 на Апатиты. К плацкартному вагону. То есть конечно, конечно, не будем спорить, — пентакль, или пентаграмма на этом свете изображается не иначе как в виде звезды, но, господи!.. Но, господи!.. Кто Офелия и кто баба. Могущий вместить да вместит.

До падения он был пятым Архангелом, и мир тогда был ослепительно совершенен, легок, чист, мир звенел как то, что по эту сторону времени называется металлом, — конечно, опять-таки не совсем так, по эту сторону времени такого и звука-то нет, и звона нет; металл этого мира тяжел и вязок, как глина в непогоду, — и тем не менее: да, как металл, ибо, подбирая сравнения, роясь по локоть в липком тесте человеческих слов, другого не найдешь, — это, пожалуй, лучшее, другого нет. Можно было бы сказать: звенел как розовое стекло, но сию же минуту все поймут неправильно, пошло, все, кому не лень будет обернуться на сравнение, представят себе что-нибудь здешнее, гнусное: вазочку, тарелку, абажур, — не дай Бог! — и подумают, что, мол, — а, да, знаем! — сама мысль вызывает содрогание... С другой стороны: кто это “все”? Смешно. Нет, не для “всех”, не для других пытаюсь найти точное слово, — для себя. Чтобы не забыть, чтобы на дрожаще-тонкой грани между земной явью и земным сном ощупать, нашарить, обнюхать, содрогнуться, может быть проглотить ушами СЛОВО — пустую шкурку со следами былой жизни, пустой флакончик со следами былых духов. Опять не так. Ну да ладно.

Некогда было СЛОВО — пять букв, — и оно, упав в мир, стало плотью, — спрашивается, зачем? Плоть тяжела, тяжела, бесконечно тяжела, глуха, непролазна, неподвижна, — ужасный, надламывающий позвоночник вес. Ужасный, черный, лиловый, коричневый мрак, душные закоулки, ос-

клизло-мохнатые пещеры. Каменный потолок. Сырой песок в пальцах. Гири тупого свинца.

Слово летуче, слово лучисто, слово сейчас здесь — а через миг уже там, — за и сквозь. За тучами, звездами, водами небес, по ту сторону всех, даже самых кривых зеркал, наполненных отражениями голубых садов, — за линиями, кубами, сферами, ломаными неевклидовыми, — уж конечно, неевклидовыми — пирамидами, за вертоградами корней из диких чисел, за россыпью таких цифр, о которых здесь еще не догадываются, оно там, за горними, скрытыми от человеческой мысли зоосадами и бестиариями, за птичниками малых ангелов, за инкубаторами радужно-белых серафимов, и дальше, там, где не летало крыло самого летучего из нетварных существ, там, где Вода и Поляна, — говоря низким языком, — Вода и Поляна, блаженство, вечность, непорванная струна, покой, кристалл, цвет, стройность, всеохватность и гармония, — но, смотрите, смотрите: язык немеет, когда берется за описание Воды и Поляны; немеет, отсыхает, как лист в октябре, падает, скукоженный. Тяжелет и врет. Оставим это.

О как мы сияли, когда были одно. Вместе мы были Словом, лучистым пентаклем, растянутой как сеть и напряженной Единицей, — ай, опять не так... Потом... потом что-то случилось. Что могло случиться? Не вспомнить. С этой стороны ограды не видно, что делается там, в розовом саду. Что-то случилось, и Слово пало в мир; вращаясь с бешеной скоростью; острым концом вперед; вонзилось и стало миром: воплотилось, и огрузло, и налилось весом. Стало миром, стало плотью. Камнем, рыбой, хлебом, деревянными чурками, песком, подушками, яблоками, печными горшками, медью, ландышами, кровью, дорогами, бумагой бессмысленных человеческих словарей. Вольфрам, морковь, слезы, рояли — какая разница? Все плоть.

И Д. каким-то образом был в том повинен.

Он знал — или помнил, — что он согрешил, и был изгнан, и пал, и низвергся, но смысл всего этого был отнят у него, и он лишь догадывался, что это — то есть забвение смысла — входит в условие приговора, или наказания, или испытания. Его отлучили от Воды и Поляны, страшным вселен-

ским пинком вышвырнули сюда, в Юдоль, отняли ключи, и каждую, каждую черту его, каждый изгиб, сковали базальтом и слизью. Он помнил высокий, страшный звук трубы, и как от этого звука все сущее как бы ахнуло, но ничего не изменилось. Лишь алмаз обратился в графит, как бы мгновенно сгнив, и в то же время — спроси его — оставшись самим собой. И это он — Д. или не-Д., — настоящего, внутреннего имени у него больше не было, — это он был сгнившим алмазом, и поправить это он не мог.

И он хотел назад, он хотел, чтобы все снова стало как раньше.

Пленный дух, Д. был уязвлен самой страшной язвой, наказан самым издевательским способом: ему сохранили бессмертие. Вечная тюрьма, коридоры да двери, но — ха-ха! — без лестниц. Пентакль распался, пентакля больше нет, есть лишь квадрига Архангелов — Рафаил, Уриил, Михаил, Гавриил (тоже мне начальство!) — и пленный Д. Те четверо, небось, не наказаны. Им, небось, оставлено право лучисто взблеснуть предвечными латами, огнем несотворенного внебытия; дано страшным бесплотным рентгеном пробить любой гранит, не замарав нездешние ризы о наше, здешнее, липкое; пробить, проступить — и уйти. Свобода — вот что Им было дано, а вернее: вот что у Них не было отнято. Но и Они без меня не вполне совершенны, не вполне полноценны, как не вполне полноценны малые нетварные твари, несозданные создания, те что прилетят как мошкара, как кровавые лебеди, те что проклянут желтую пустоту над заливом, прольются в толпу, и сольются, и проступят в земных обитателях — полыхнут в избранных по прихоти лицам, как огонь в пустых каменных горшках. Полыхнут и уйдут — и вот тут-то, в краткий этот миг, поймать, схватить, вцепиться, — как?! — как-нибудь! как-нибудь! Вцепиться всеми жвалами, присосками, щупальцами, ворсинками, клювами; вонзиться всеми зубами, присосаться всеми пастями: возьми меня! возьми с собой, не уходи, не оставляй, не бросай!.. Унеси!

Ему, как и всем Им, было дано проступить в так называемом человеке, или, иначе говоря, Носителе. Но если другим было разрешено проступить и отступить, быстро вер-

нуться назад, вывернуться и сбросить Носителя, то у Д. это право было отнято, и путь назад был перекрыт. Он не мог умереть вместе с Носителем — в момент так называемой смерти, а правильно говоря, Ухода, он сразу же проступал в других Носителях, передвигаясь по земной, человеческой, тварной горизонтали. Но и покинуть Носителя по своей воле он не мог, он обязан был дожить вместе с ним до его жалкой человеческой старости, и единственным способом стряхнуть Носителя с себя было самоубийство.

Он часто пользовался этим способом, потому что терпения ждять вместе с хозяином у него редко хватало.

Ждешь, ждешь, а тот, с больной печенью, слезящимися глазами, подагрическими коленками, все ползает и дышит, и ради чего? Как только он, после стольких телесных тягот, выпускает свой так называемый дух, Д. немедленно проступает в другом, ничуть не лучшем хозяине, лишь с досадой гадая, куда мог отправиться дух предыдущего.

Правда, иногда он бывал терпелив, особенно если хозяин попадался удобный, с земными связями и возможностями — царь, или вельможа, или знаменитость; у таких и старость была комфортабельнее, несмотря на вечные, казалось, проблемы с простатой, и все-таки какой-то почет и внимание окружающих, и любовная жизнь поразнообразнее, и как хотите, но рябчики вкуснее брюквы, а свежескопеченая мурена с петрушкой — да, ел, ел и это! — привлекательнее яблок-паданцев. С такими он обычно оставался до конца. Где-то ближе к концу порой гадал: сам откину копыта, или же верные слуги, или милые детки помогут? — а помогали; даже смешно; вытаскивали крючьями из-под козлоногой, модной в свое время кровати, забивали насмерть липовыми палками, хорошо отшлифованными сирийскими кинжалами, душили шнурками из вискозы, угощали маринованными поганками; а то по лбу табакерочкой, а то в лоб кистеньком; право, смешно. Какая разница? Ах, людишечки... А то попадался — и нередко — такой сочинитель, такой, право, престижитатор, который начинал бороться с Д., то давить его, то сдаваться на милость (а как же!), который раздваивался в себе ночами, начинал долгие разговоры без слов сам с собой, и просил, просил Д. отпустить, по-

кинуть его, а потом сам же валялся в ногах, прося не уходить (как будто бы он мог уйти!), прося еще раз озарить, — а потом снова раскаяние — ну как это у них у всех бывает. С одним таким они много понаписали музыки, и одна штучка была хоть куда, ну а потом тот оглох как пень, и скончался, вроде бы, от наследственных дурных болезней, и сразу после этого Д. уже был далеко.

Ему не страшна была смерть Носителя, и он ее не боялся; как воин, он был жесток и бесстрашен, а потому славен; но и это ничего не значило, ибо славен среди людей был тот, погибший хозяин, а Д. уже с отвращением пахал землю, или пел, или, подобрав сыромятным ремешком длинные ниспадающие волосы, стучал молоточком, выковывая узоры на кувшинчиках или протаскивая дратву через синый, мягкий, как грудь, сафьян.

У него бывали времена — по настроению, — когда он кончал самоубийством из чисто спортивного интереса, подряд, по двадцать и тридцать раз: а ну, что будет?.. Едва проступив, он бросался со скалы, или кидался на нож, или проглатывал собственный язык, особенно если оказывался китайцем; а не то топился, вешался, медленно делал хакири, не спуская припухлых глаз с цветущей ветви сливы, пригоршнями глотал волчьих ягоды, взрезал вены в теплой ванне, а то и без ванны, так; садился на кол; прыгал, голый, в муравейник, голодал до радужно-павлиньих галлюцинаций, упивался элем, или политурой, или ставленными малиновыми медами; в грозу бежал к самому высокому дереву и, расставив ждущие руки, с запрокинутой головой и ртом, полным дождя, ждал молнии — и дожидался; — что еще?.. Бросался в вулкан. Обваривался кипятком. Входил в костер. В степи глухой замерзал под скорбное молчание и слезы коня. Потом надоело. Потому что все есть суета сует и всяческая суета, и ничто не ново под луной, и изошренными этими способами умерщвлял он не себя, а Носителя, а сам был, был, был все время, и дни его были как песок морской.

И после многих столетий, тысячелетий смутной этой, чадной, полузабытой, полузабываемой жизни, после гулов ее и морских прибоев, отрав и струнного пения, и свиста трав на

ветру, и стука веток в дождливое окно, и далекого лая, и бляения, и дымков из земных жилищ, и туманов в долинах, и белых облаков над ждущими вершинами гор, после всего ожидания и молчания он стал понимать, замечать то, чего не понимал и не замечал раньше: раз в столетие, перед сменой и сдвигом цифр что-то происходит. Что-то просыпается, готовится, проносится трепет; знак там, символ здесь, намек тут. И вдруг, — словно открыли дверь из тихого, глухого дома прямо на шумную, базарную площадь: Они уже тут. Они уже всюду, они проступили, они заселили, они истончили тонкую ткань времен, они справляют неизвестный мне праздник, они балуются и шумят, как дети, выпущенные на лужайку покувыркаться, пока не стемнело, попрыгать через веревочку, повизжать и понастроить песочных замков, куличиков, понавырять норок, понарвать ромашечных головок и розового куколя, чтобы было чем швыряться, хохоча, во время игр в пятнашки. И он, взрослый, нехороший дядька, завистливо смотрит через забор, отяжелев: дети-дети, а как же я? А почему нельзя мне? Я тоже был такой, я опять хочу, я с вами, возьмите меня к себе. И он перелезает через забор, небритый, дышащий перегаром времен, страшноглазый, со вздутой мотней, с черными ногтями, медленно перебирая заплесневелыми, забытыми в валенках ступнями. Дети, возьмите меня... А-а-а-а-а-а!!!...

... Он просыпается на козлах, он опять здесь, тут, скоро рассвет, и с запада дует синевой и сыростью.

Пришлют, пришлют, за мной пришлют. Дождусь. К концу тысячелетия, а уж тем более этого тысячелетия выйдет, не может не выйти, должна выйти амнистия. Если не сейчас, то когда же? Вот и земные предсказатели, кочующие нострадамусы, цыгане, факиры, базарные жулики, продажные чудотворцы — всякий мелкий и, в сущности, презренный народец, окормляющийся вокруг чудесного (что бы они в этом понимали!), — тоже что-то чувствует, оживился, забеспокоился.

Соседка Д. по коммуналке, Надя, — тоже, пожалуйста. Только что была обычная баба, тридцать лет, ноги короткие, бухгалтер. Зарплата — великие тыщи, а что на них купишь? Ну, булку, творогу пачку, маринованных огурцов

банку, пол-литра ливизовской водяры “Синопская 22” (не пить же голубоватую, поддельную “Русскую” — себе дороже: печень крик — и на части), а на сигареты “Ява золотая — ответный удар” уже не хватит. Все это говорилось громко, в коридоре, с хлопаньем дверью. Чтобы он слышал. И знал. Ибо в свое время, в человеческой, плотской тоске своей он пару раз забредал к ней на “огонек” — на тусклый огонек лесной гнилушки, временно полыхнувший в ее счетоводческой душе малым пожаром, а в его, простуженно-водной, вечерне-темной, тоскующей, ждущей, — не полыхнувший, и она была рассержена. У нее были на него планы — планы неинтересные: в идеале — жениться и поменять их две большие коммунальные комнаты на одну трехкомнатную квартиру (с застекленной лоджией, кухня пять метров) в Мурино. Или же с незастекленной — но можно самим застеклить, — на Солдата Корзуна. У нее были адреса желающих. Эта перспектива, этот беспробудный ужас — запереться вдвоем с тяжелым шматом чирикающей бухгалтерской плоти в самом глухом, самом сухом углу, в самой душной камере земной тюрьмы, там, где овраги, шорох желтой сурепки, пыльные воронки на полусельских дорогах, где ни росинки, ни капли, ни молекулы воды, так что пересыхает рот, песочится и наждачится язык, где белая чухонская пыль разъедает белки глаз, слепит, сушит, глушит, душит, заматает, — этот кошмар, въяве представившийся ему на мгновение, проложил дорогу и в его сны, так что и много позже, когда все успокоилось, солдат-корзун, нехорошо посмеиваясь и мурлыча, приходил мягкими шагами, на коротких ногах и замуравывал Д. в дедушкином шкафу, проталкивал, пропикивал его внутрь, сквозь деревянную шерсть, через хмурое корзинное плетение и скрип створок.

“Есть распашонка на Шверника, но с большой доплатой. Там и пруд рядом. Ты же любишь, когда вода близко?..”

Глинистый пруд с полузатонувшей шиной: спасибо. Неприятность была еще и в том, что он, как человек деликатный, не находил в себе достаточно воли, силы или грубости, чтобы напрямую сказать ей: помилуй, Надя, какой обмен, какая женитьба? не с ума ли ты сошла? ничего у меня

нет с тобой общего: ты — плоть, я — дух, а человеческие слабости, сведшие нас с тобой на мгновение, суть слабости именно человеческие, слабости Носителя, ибо я пойман, скован и распят в этом туловище с редящими волосами, и поверь мне, это туловище, тело, корпус, круп, голова — два уха не имеют к моему истинному лицу, страшному и светлому лицу, никакого отношения. Спасибо за чай с тортом, Надя, за сочники и беляши, за постирушку и штопку, но не затем я так долго шел сюда, в этот прозрачный город с корабликом в облаках, не затем так долго полз, продирался, карабкался, обрывался и снова полз, пытаюсь успеть к Сроку, чтобы запереться с тобой на пару в шлакоблочном каземе, пусть и застекленном.

Ничего этого он не сказал, и почему-то полагал, что если помалкивать и не возражать, не раздражать, то все как-нибудь само собой рассосется, и даже позволил отвезти себя в Мурино, где постоял у окна чужой квартиры — тупотюлевого, с бессмысленно узкой полоской подоконника, на котором ничего не могло разместиться, кроме кефирной бутылки с проросшим луком, пустившим в воде длинные желтоватые корни, похожие на морское мочало. Постоял, глядя в окно, на нескончаемую полосу гаражей — синеватых покрашенных и ржавых непокрашенных; на буйный, пыльно-розовый иван-чай, мотающийся на июньском ветру. Громяхая на колдобинах, проехал грузовик с синими баллонами в кузове. Прошла белая мусорная общая кошка.

“Тут недалеко — Бугры, там картошку хорошую из ведер можно покупать”, — с уважением сказала хозяйка тюрьмы. “Ну, до Бугров еще ехать”, — возразила Надя; поспорили. На стене, желто-коричневая, залитая лаком, висела “картинка”: наборные деревянные гуси, деревянно улетающие в деревянный закат. “Кухонька небольшая, но все помещается” — показывала хозяйка кухню, в которой действительно помещалось все: и холодильник, и трехкомфорочная плита “Лысьва”, и лилипутский столик, и сам хозяин — угрюмый Носитель в сиреневой майке, евший вилкой тефтели.

“Ну как тебе? Нет?.. Я сама вижу, что антресоли маловаты. Или хочешь на Корзуна посмотрим?”

В конце концов пришлось сказать ей, и после рыданий,

злобы, ночного стука в дверь его комнаты — в ночной рубашке, наивно, но верно предполагающей соблазн, перед которым трудно устоять, — после всех этих привычных шашечных ходов по замкнутому пространству, по немногочеточной доске, никто не прошел в дамки, — Д. остался на верстаке над заливом, Надя страшно растолстела, стала покупать “Синопскую, 22” и вечерами, выходя на общую кухню, ни к кому не обращаясь, клясть человеческий род. Но все это было уже давно, и ничего не значило, а в последнее время что-то переменялось, — времена, времена наступают! — Надя забегала, засуетилась, какие-то курсы, какие-то книги, какие-то бородатые гости, — и вот вам, пожалуйста: она уже никакая не Надя, а прямо сразу Аделаида, Древняя Жрица Академии Луны. Астрологический прогноз, приворот на крови, порча, снятие венца безбрачия. Карты Таро, лечение ячменной и бесплодия. Открываем Третий Глаз, прочищаем чакры. Заглядываем в нуль-пространство. Перекодируем энергетические воронки, чистим взглядом водоемы, разыскиваем потерянные предметы. В качестве Аделаиды, древней жрицы, она выкрасила свои никакие волосы в черный цвет, глаза обвела черной линией, отчего в них проступила ужасная светлая пустота, одеваться стала в просторные балахоны, простроченные серебряной нитью, купила в комиссионке хрустальное яйцо, стены и окна завесила марлевыми индийскими тканями, благо недорого, приволокла низкие резные столики, натыкала курительных свечек, в углу поставила двухкассетник, и по ночам сквозь стены ее комнаты просачивались звуки дудука и ситары. Должно быть, она простила Д. и преодолела его, потому что уже год как не попрекала его ни творогом, ни огурцами, ни малой своей зарплатой, с которой он не желал слить свои небольшие доходы, и ходила по квартире важно и, туша мясо в огромной, общей, в коричневый цвет выкрашенной кухне, говорила про себя: “мы, дочери Луны”, и на свою дверь повесила табличку: Фирма “Голубой Луч”.

Это ли не сигнал, это ли не знак времен?

И надо затаиться и ждать, чтобы не сорваться, как раньше, не испортить намеченное резким, неправильным движением, надо скромно стоять в уголке. В прежних проявле-

ниях он порой был нетерпелив, гневлив, требователен, мелочен, тщеславен.

* * *

Казалось бы: ему ли к лицу (к тому, настоящему лицу) мелкое тщеславие? А вот, поди ж ты, было! Время, что ли, опять же, было такое, как любят теперь задумчиво писать в газетах, — девственное начало века, фиалково-серебристый запах гнили, запах перемен и возможностей, — но и ему захотелось поучаствовать в том, в чем все бросились участвовать толпами; в воздухе (и воде) явственно слышался этот тревожный, неповторимый, все усиливающийся запах, не ему одному слышался. Д. тогда проступил в юноше, который сначала показался ему неприятен, но, поразмыслив, он решил, что так даже удобно: и возраст — девятнадцать лет, — и так называемые родители. Папаша был интеллигент, борода-очки, писал, говорил и делал только полезное, легко возбуждался, когда говорили о гражданственном и никогда, никогда не появлялся в нижнем белье даже сам перед собой от жгучего стыда за самую идею исподнего. Маменька были истеричка. Д. — тогда он звался Виктор — начал помнить бездарное, отравленное непрошеными поллюциями детство, выезды на еловые дачи, где его мучил желтый закат с чистой звездой в пустоте, комнату под крышей и смутный шорох ветра, в котором словно бы проступали слова. У него были яркие красные губы, неприятные ему самому, низкий таз, потные ладони, темные круги под глазами; он решил, что годится. В виде Виктора он как-то очень ясно видел Поляну и Воду, и все что там делалось, и что все это значило; разглядывая в журналах картинки, нарисованные безумцами, ищущими то же, что и он, он усмеялся: ну да, но он знает лучше. Точнее. Он стал записывать, получились стихи, ему нравилось это делать. Его раздражало, что Виктор плохо учился и словесный запас его оставлял желать лучшего, но в конце концов он-то был тут, он-то знал, и сборник получился внушительный — страниц сорок. Вот тут он испытал тщеславные позы, и, придумав себе псевдоним А.Падший — в духе времени, — осмелился и навязал свои прозрения самому Брюсову (эк,

замахнулся!..) Сначала начитался его кованых, хорошо склепанных, прочных строк, потом походил сужающимися кругами вокруг редакции, потом подъюлил и втерся, был представлен вхожим приятелем, таким же нехорошим юношей, как и он сам, — и подсунул. Весь сборничек. И в ожидании похвал Мэтра, с бьющимся сердцем, бросился на постель и, не зажигая огня, провалялся сутки; и, несмотря на мамашины крики об оладьях, провалялся вторые, лицом к лепному потолку, на котором сами проступали серо-голубые обложки “Весов” и кремовый, невыразимо сладостный разворот листа, и черные благородных очертаний буквы, как крупная, приблизившаяся мошकारа. И, перечитывая на потолке им же самим высказанное, как бы уже врезанное в прозрачные страницы, грудной арфой поющее на них откровение об Этом, он знал, чувствовал, как дрожат, вглядываясь и ловя мельтешащий текст, его маленькие и блестящие зрачки.

И его дрожь и страсть расплзались дальше, дальше, как пятно на тонкой простыне, и он уже видел отражение своих откровений в потрясенных душах людей — гимназистов, студентов, профессоров, их круглогрудых жен с часиками на шее, мягконогих театральных художников, держателей ссудных касс, приват-доцентов, модных дерматологов, председателей суда, всех присяжных, всех присяжных заседателей, разносчиков, бакалейщиков, нарушителей паспортного режима, забойщиков скота, могильщиков, рецензентов: все они подписались на серо-голубые “Весы”, все нетерпеливо разрезают страницы новинки: ну-ка?.. и ошеломленный могильщик отложил свой заступ; и выпадает из узловатых рук зеленщика сельдерей; и дерматолог, остолбенев, видит на месте язвочек мягкого шанкра сапфировую флору Поляны; и все они, все, в дворцах и ночлежках, переглядываются: вы читали что-либо подобное?..

И сразу лавина, обвал рецензий, подземный топот аплодисментов, крики; партер и галерка, — все встают, занавес скачет вверх-вниз как взбесившийся, здания рушатся к черту... Что-нибудь такое... что-нибудь такое... Что, вот, изумительная точность воспроизведения, и... э-э-э... максимальная достоверность... э-э-э... в деталях, да, и в деталях... и... исключительная реалистичность... нет, не это, но...

Через несколько дней, не выдержав чудовищного напряжения такого вглядывания в потолок, он решился и неприлично бросился к Мэтру домой. Ужасно; ошибка! Сначала холодное недоумение, брови вверх, рот вниз: чему вас учили? вот так? прямо на дом? ко мне?! что за манеры. Потом, видно, мгновенно пересчитал в свою пользу: вот до чего я, черт подери, нужен и важен... утепился на градус, вернул бровь на место. Что ж, юноша бледный со взором горящим, так и быть, прошу к столу... мы как раз тут... чаевничаем... Лампа на чугунных купеческих цепях, скатерть, бахрома... все это густо так, душно, тесно... Все так неспешно, и эти его тошнотворные морковные пироги... торжественно... словно вынос печеного лебедя на пирах у Василия Шуйского... И этот менторский тон, это снисхождение: вам еще учиться, учиться и учиться технике, и: главное — размеры, метрика, и: ведь у вас же, голубчик, строфика в зачаточном состоянии, и вообще что это значит: “нояблоком сапфи себя”?! Что это?! Вы еще незрелы, конечно (ням, ням, обтер морковочку с бороды), но дурные влияния особенно опасны в юном, чутком возрасте, а я знаю, знаю, чьи это влияния, ням, ням.

Что ты знаешь, что ты можешь знать, скотина чугунная, думал Виктор в бешенстве, чувствуя, что ноги потеют так, что лучше бы их было оставить в прихожей. Чушка символистская. Идолище астраханское. Что ты можешь понимать о горнем, о невыразимом, о Воде и Поляне, обо всем, что... да чтоб тебе ни дна ни покрывки, чтоб твои вирши пошли на обои, чтоб тебе в веках и зонах давиться вареной морковью! загнать тебе ее в рот как кол, как ствол, как — тьфу! Обращаться со мной, со МНОЙ, как с мальчишкой... Виктор!.. да мало ли что Виктор!.. Это Я написал, Я, не вам всем чета, я-то знаю, что там, я знаю, как там, я знаю, какими словами — пусть жалкого, косного человеческого языка — лучше выразить То. “Метрика”!

Он хотел, очень хотел, немедленно, сию же минуту убить — а что? — но Виктор был слабоват, чахлогруд... и, с отвращением представив себе постыдную сцену неудавшегося удушения Мэтра, представив, как красный, чуть помятый, Брюсов легко отрывает его юношеские руки от того места

себя, где у других бывает шея, как тот торопливо отбрасывает юнца, словно почтальон — дачную собаку, он только пробормотал, выскочил, споткнулся, на миг отметил в зеркале прихожей свое бледное, краснотупое лицо и метельную пелерину перхоти на пробегающих плечах — нет уж, хватит!!! вон отсюда! — и, вбежав к себе, отмахнувшись от кудахтанья мамахена, хлопнул дверью, и с удовольствием, как бы мысленно потирая с руки с мороза перед тем как принять запотевшую рюмочку зверобоя, быстро и решительно удавился, перекинув через петлю фрамуги красный шелковый кушак отца, оставшийся от его сезонного увлечения земством, статистикой и украинским вопросом.

И сейчас же проступил русским господином со средствами, скучающе разглядывающим променаду с белыми грибами дамских шляпок внизу, под террасой приличного ресторана на весенней набережной Ниццы. Воздух был чудный. И здоровье, он почувствовал, железное, и кошелек туг, и в паспорте — отличные, крепкие визы (Константин Павлович Пырьев, а не какой-то там Виктор), и злоба на Брюсова сразу почти отлегла, так что когда сидевшая тут же напротив дамочка, очевидно, вечерняя подружка, Софочка, не вовремя прошебетала: “Ах, ах, Валерий Яковлевич!.. Вы тоже обожаете Валерия Яковлевича?..”, то он, хоть и помертвел на мгновение, но не дал ей в зубы наотмашь, как надо было бы, но сдержался, и только, двинув стулом, резко и быстро вышел, оставив ее саму расплачиваться за все дорогое, розовое, нахально и обильно выпитое шампанское “Корбет”.

Его давно уже — ну, относительно давно, но зато сильно — тянуло в Петербург. За долгие тысячелетия своих горизонтальных передвижений — скитаний — он, конечно, побывал уже практически всюду, где стоило побывать. Можно сказать, объездил весь мир — и просвещен; да-с, просвещен. От Апеннин до Анд, от Японии до Ганга. Остров Серендип, притоны Сан-Франциско, саванна и джунгли. Снега гималайских вершин. — Знаем, знаем. — Вдох. — Все знаем.

Бывали места, где ничего, казалось, не могло проступить, — честные, аккуратные, сиюминутные, плоские. Или

же просто пустые. А то попадались местности и времена, где могло случиться, где покровы — совершенно же очевидно — были прозрачны, тонки, порой до явственно слышимого шелкового шелеста, до явственно прозреваемого суховато-красного свечения. Но и они были бесплодны: то, что роилось под этими покрывами, не имело никакого отношения к Воде и Поляне, и шуршащие, зудящие в Носителях сущности, хоть и были не от мира сего, как и полагается всяким сущностям, но связаны были с иными садами, о которых даже ему, сброшенному, низвергнутому, не хотелось думать: с садами, должно быть, Огня, Жуков и Песка.

Бывали такие времена, места, времesta, когда, когда все гудело от гула крыл проступивших. На стогах городов мелькали их лица, отмеченные на просвет водяными знаками, в густой толпе, жадным стадом валящей на зрелище, он, тоже толкаясь и наваливаясь, ощущал тугое сопротивление крыла, фиалково-гнилостный, неповторимый запах перьев, царапанье кожистого, красного коготка, веянье прохладного пуха у щеки, на мгновение ловил и вновь терял алмазно-антрацитовый взмах ресницы. Они шли, бежали, валяли, как град, как овцы с горы, как последняя зеленая волна, смывающая земные царства. И, обезумев, он врзался в эти волны, в эти толпы, и топтал их как кур, и резал их как овец.

Безрезультатно.

То есть настолько безрезультатно, что впору было приостановиться, остыть, протрезветь и призадуматься. Поразмышлять и выработать стратегию. Понаблюдать. Ведь у него же был кое-какой опыт. Правда, беда с этими переходами была еще в том, что память о прежних его существованиях, мерцая, как воспоминание, догадка или сон, все же так и оставалась — мерцанием, отяжеленным его сиюминутной, нынешней, случайной плотью. Груз мяса Носителя, ватная подстежка его туков, мотки нервов — все мешало. А кровь, этот соленький океанчик, разбегающийся по голубым дорогам сосудов, — попробуйте расслышать что-нибудь в шуме этого вечного прибойя! А разные бессмысленные зовы плоти — зовы, вопли, крики, шепоты, жалобные завывания, хриплый лай, словно бы тебя, со скрученными руками, ведут по кори-

дорам приюта для умалишенных! Ну и, конечно, сверху, как низко надвинутая, тесная шляпа, — слабый мозг хозяина, неспособный удерживать в сколько-нибудь приемлемой форме десятки тысяч прежних жизней, их солнц, белых дорог, пестрых подолов, закатов, ослов, щитов, алфавитов!..

Ну, например, — смешно, просто смешно, но и страшно, — но он никак, ну никак не мог вспомнить, что же он делал в 1492 году! Такие дела, такие знаки, такие возможности — а он? Ни следа в дурацкой его, нынешней людской памяти, ни царапины, ни отпечатка! Почему? Чтобы меньше досадовать, он предположил — и так это и оставил, — что, допустим, в то важное время он проступил в каком-нибудь коматозном маразматике, физически крепком, но с угасшим мозгом, и его скотина-хозяин держал его в своем темном плену, в чулане своей плоти, пока не скончался на невидимых руках невидимой родни, теперь уже неизвестно где.

Или вот во Франции, в середине 1790 годов — бардак, полный бардак, практически конец света, заварушка и вопли в каждой подворотне, безумие на площадях и пахнущих кошками каменных лестницах, города полны сумасшедшими, и в воздухе — шанс! Нельзя было погибать в такое богатое, в такое густое время, хотя он тогда был скован очень неудачным Хозяином — он был калекой, одноногим, а вторая нога до колена была съедена какой-то дрянью, костоедой, что ли, и это очень мешало передвигаться, но зато политически было выгодно: никто не приставал с подозрениями в незаслуженных привилегиях, да и зарабатывал он неплохо, вопя на стогнах городов о том, что потерял ногу при старом режиме, что было чистой правдой, хотя и не Бурбоны отъели ему голень. Шанс был всюду, но в Париже гуще всего — такой уж город, — и он, радуясь, что в это тревожное десятилетие уродился французом, пусть и неполноценным, заковылял из своей южной провинции в Париж, смутно помнящийся ему с прошлого раза — с пятнадцатого, что ли, века, хотя тогда он въезжал в карете и через другую заставу... Боже, как все позастроили... Ничего не узнаю... И, уже вваливаясь в Сен-Жермен-де-Пре, широко загребая здоровой ногой и двойным отмахом костылей, скрыто и буйно радуясь наконец-то знакомым улицам, скрещивающимся

перед ностальгически заблестевшим взором, — внезапно поскользнулся на сыре бри, валявшемся тут после очередного погрома, и рухнул, весь сразу — простые физиологические звезды напоследок в глазах, — и, сломав шею, сейчас же умер, и сейчас же проступил — гадость какая — в пожилom и натруженном пейзаже — пардон, крестьянине — в глухом углу северо-западной Явы, в момент, когда тот — когда он — когда я — любовно сажал батат на делянке, отвоеванной от густого леса, кишашего, как кажется, тиграми и змеями. Он даже взвыл, осознав потерю — Париж был уже вот он весь тут, в руках — и пожалуйста, глупость какая! Пошлость какая!

В злобной досаде он немедленно бросился к первому попавшемуся скорпиону, хватая по пути всех мохнатых тварей, брызнувших из-под его ног с кромки поля; к вечеру скончался в корчах, смутно отмечая перепуганные, зареванные личики жены и двенадцати детей, имена которых не успел запомнить; проступил в папуасе; — подсобил крокодил; — проступил в рабе; еще одном рабе; еще каком-то обездоленном, только мотыга мелькнула; плантации, каменоломни, галеры; поля, поля — рисовые, маисовые, просяные; голые каменистые пустыни, коралловые острова, на мгновение задержавшие его внимание чудным огненным закатом, — неважно, прочь; колесо перемен вертелось, влоча его, намотанного на обод, по грязи и нищете окраин мира. Прочь, прочь, не хочу, вон отсюда, отпустите меня, я хочу в Париж, куда-нибудь, я хочу к людям, я хочу на свет, — но, как плоская вошь, он перемещался лишь по горизонтали, вбок, не поднимаясь ни на ладонь над внезапно выпавшей ему судьбой.

На очередной выбоине колесо подпрыгнуло и сбросило его; случайно или намеренно — кто знает. Промысел неисповедим, стезя его темна и крива, вся поросла волчцами, ольхою, иван-да-марьей, не видать ни зги, тошнотворно звенит колокольчик, и звезда с звездой говорит о какой-то белиберде. На этот раз он осознал себя Игнатом, русским крепостным; Игната привычно пороли. “Ох-ти!.. Помило-сердствуйте! Господа хороши-и!” — привычно кричал Игнат, в то же время неспешно прикидывая, что нынче суббо-

та, полпятого пополудни, что вот уж злодеи управятся, и он успеет к Ермолаю, у Ермолая есть копейка, и они возьмут в кабаке водки, и пирогов с брюквой, и каши с крутыми яйцами, и обматерят весь Божий свет, и будет им так-то хорошо, так-то тепло, как никогда никому еще не бывало. Проступавший в этот момент, напяливавший на себя Игната, Д. уже привычно, дежурно вскипел гневом — опять раб, опять подъяремная тварь — но наложить на себя руки не было, господа хорошие, никаких человеческих возможностей, — каждую руку и ногу держало по холопу. Глотать же собственный язык на китайский манер было как-то неуместно. Во-первых, Игнат мешал, ритуально, ритмически крича, а во-вторых, из глубин нового, Игнатового, очевидно, организма, как бы из самых костей проступала, надуваясь тугим парусом, гордость великоросса: чай, мы не басурмане какие-нибудь. И в промежутках между звездами боли, под татарский посвист березовых прутьев в совместной, союзной, двойной отныне душе его расстилались видения: заливные луга, мокро-зеленые травы, сине-чистые рыбные речки, низкое закатное солнце через нитяной блеск грибного дождичка, далекие белые церквушки на восхолмиях, далекие темные караваи дубрав. И высоко надо всем — хмурый витязь, бродячий богатырь на взволнованном коне; он смотрит с горы, с кургана, с утеса, с бел-горюч камня, смотрит из-под руки вдаль, смотрит сквозь годы, смотрит далеко-далеко, за дальние леса, за синие холмы, за сахарные храмы, за темные деревянные города, за непроезжую кудель дорог, смотрит, пьяный в репу, бухой в дуду, в тоске гадая: направо ли пойти, налево ли — один хрен, никуда не доскачешь, ни из варяг в греки, ни обратно в варяги, а и доскакал бы — к чему? нешто от себя ускачешь?

И тяжелеют в беспробудной, слезливой тоске веки, сердце, чресла, тяжелеют переметные сумы, прогибая, переламывая конский хребет, каменеют могучие ноги, вращая в землю, а навстречу из земли встает былье и пырьё — разрыв-трава, забудь-трава, отними-трава, пропади-трава.

— Охтенки-и! — напоминал Игнат.

Пороли, впрочем, вяло, с ленцой, кое-как, потому как, чтобы хорошо пороть, надо, слышь, яриться, а в субботу,

полпятого, слышь, яриться лень, хоть бы ты порол самого врага рода человеческого.

Подлый раб не знал ни азбуки, ни счета, и, окромя смутных татарско-варяжских видений да простой, как палка-копалка, стойкой портошной похоти на каждое проколыхавшее мимо белое бабское тулово, да неукротимых позывов на печеные-вареные корнеплоды под жестяной гул зеленоватой, торопливо сварганенной из дряни водки — тяп-ляп — и ведро готово, — окромя этого, он ничегошеньки, похоже, не знал и не хотел, а потому удобно и несложно было разлечься, просочиться, расположиться в его душе, кривой, упрямой, ленивой и нелюбопытной, склонной, впрочем, как с неудовольствием отметил быстро сливавшийся с Игнатом Д., к поджогам, пожарам, кострам, печам, факелам, блуждающим болотным огням, светлячкам, лучинам; то есть даже до такой степени склонной, что, случись абы где огню, — раб немедля бежал на красное, призывное колыхание языков пламени или хотя бы на слабое, голубоватое свечение гнилушек, старых, спиртом попахивающих пней, замшелых лесных колод, и, отвесив челюсть, широко раскрыв белые глаза, смотрел, замороженный, как мерцает, гуляет, полыхает, знать себе ничего не знает огонек, поедающий дом ли, полено ли. А что вез он в Петербург из Луги воз с битой птицей, а велено было живо домчать, а чего там домчать — день пути, а загулял в дороге — встретил свояка, то да се, а тут еще цыгане, северные, коварные, с кострами в тумане и глухими предсказаниями долгого пути да сердечных хлопот, цыганки, искоса глядящие длинными индийскими взглядами сквозь молочный чухонский туман, усмехающиеся, серебряными бусами потряхивающие, за руку берущие, бровями помавающие, литые яблочные слова на своем говоре говорящие, — а что ж тут поделаешь, очнулся через неделю — карманы обобраны, и в голове посвист пустоты, и птица с душком. Ваша воля, порите. Понимаем. Спасибо за науку.

Игнат поблагодарил порщиков за науку, поцеловал палачей в плечико и вышел на стогны града, и Д., уже освоившийся в неприхотливом туловище крепостного, вышел, и был Город, и были его набережные. С запада дул соответст-

вующий ветер, ровно и сильно — нагонял воды в речные рукава, загибал, заворачивал волны барашками. Небо было обманчиво чисто, будто все тучи, что могли нестись по нему, еще не отделились от водной утробы, не просветлели, не окрылились, не вознеслись, не окрасились в ожидаемые октябрьские цвета фиалки и ржавчины, но, плененные водой, ворочались и вздымались, стремясь вместе с материнским потоком вспять, против течения, туда, куда нельзя. Небо было чисто, пусто и тревожно, но в любую минуту... В любую минуту...

— Э! Гля! Ы! — выразил nonешний носитель некоторые нерасчлененные чувства, и Д. увидел, что, и правда, воды уже грозят перелиться через край, уже покрыли гранитные ступени, спускающиеся с набережной в речную глубину, уже лижут некрепкую мостовую, и отдельные струи, шипя, забегают в пространство, для текучих стихий не предназначенное. Он отскочил, сберегая лапти, толкнул спиной барина, матюкнулся, винясь перед его благородием, ахнул мысленно, вдруг заметив стройный ряд дворцов, словно по нитке вытянувшихся вдоль реки и во все глаза смотрящих, словно бы с недоверием и гневом, на буйство вод, переплескивающих через недопустимую черту. Дворцы! Завитки их, отвесный дождь колонн, цвет песка, и волн, и краснобурых, шевелящихся водорослей, меловое свечение статуй на крышах и в простенках, веера раковин, венчающих своды окон, а по ту сторону непокорного, отбившегося от рук потока — низкий вал крепости, словно слепленный из сырого вечернего песка, и надо всем — криком вздымающийся в оголившиеся небеса, золотой и тонкий шпиль, разрезавший небо на западную и восточную полусферы.

— Пышный город, — пробормотал ошарашенный раб.

— Чего тебе, братец?

— Пышный, говорю, город.

— Однако!

Походя ушибленный барин оскалился на Игнатово изумление, поправил высокую шляпу. Мелкий барин, глаз голубой, насмешливый, сам кучерявый и вертлявый, без важности, а похож на обезьяну, что у господ в клетке, даром что та в красной курточке и шапочке с кисточкой, а этот в

пальте и на шее галстух — все равно вида басурманского, неправильного и невозможного, — как если бы окосевший от медовой ли, ячменной ли пьяни богатырь-основатель, сбившись с вожделенного пути из тупых белобрысых варяг в вертлявые, чернявые, быстрые греки, проспал нужный поворот и вместо золотом шитой, алыми квадратиками разуроренной, неторопливой, всепримиряющей мордвы попал, сам не зная как, под пальмовый ветерок беспокойной, зубоскальной, приплясывающей Абиссинии.

— Понаехали, ешь твою двадцать!.. Под ногами путаются!.. — Свежепоротая задница вспыхнула было ожогом, ударившись о тщедушную барскую плоть, но и ожог, и поджог барской усадьбы, мгновенно представившийся и мысленно осуществленный — выволакиваем, посреди криков и суеты, через чердачное окно никому, и нам в том числе, не нужные ивовые кресла, — все сполохи погасли, смирились, залитые шипящей, наступающей водой. И вновь кружевной подол забежал куда не просили и лизнул отпрянувшие ноги — одним концом по барину, другим по мужику.

— Эка! — крикнул барин, со смехом и огорчением отрясая воды со штиблет.

— Знай наших! — бессмысленно крикнул Игнат, словно он сам распорядился устроить водяное буйство.

Обезьяньего барина окликнули из проезжавшей коляски, и он отвлекся, забыл Игната, зачирикал с приятелем по-басурмански — а вот вырвать бы ему грешный язык-то, — злобно пожелал Д. и остался лицом к лицу, ликом к лику, с Водами. Завороженный, смутно догадываясь о знаках, смотрел, как вздувается и крепнет текучее чудовище, как наливается чернильной силой, растет, словно бы в реке, сама собой, пробудилась страшная водяная закваска. Не знак ли?...

Небо уже было нехоршее: отвесное, гнойное, с ртутным отливом; от вод поднимался мрак, ветер свистел, как розги. Еще минута — и настанет ночь; лапти промокли, надо что-то решать: либо в очередной раз покончить с ненавистным рабским существованием и опять надолго, может быть на годы и годы, завертеться в проклятом колесе преображений, без всяких шансов на приличное земное существование.

ние, либо смириться и посидеть пока тут, в этом безумном месте — тем более, что оно... Нет, не может быть... ну а все-таки?

Пала ночь, пал большой ветер, пришла большая волна; последним блеском из крошечного мрака сверкнул Знак: высоко-высоко, под завернувшимися синим войлоком тучами, в небе, задергиваемом завесой бурь, на минуту, призывно и неодолимо, мелькнул золотой кораблик, горняя лодочка, парусник спасения. Сбиваемый с ног внезапной, хлынувшей со всех сторон водою, в последнее мгновение перед скручиванием в водяную трубку, в ревущую, круто завернутую спираль, осененную пенным воем, он успел увидеть — луна ли в разрывах смыкающихся туч? звезда ли? — там, в эфирной выси, мелькнул летучий призрак — спасение, надежда, привет, — и тут же его покатило, ударяя обо что-то, заливая рот пресной, бледной даже в ночи водой, срывая кляклые лапти, отяжеляя порты, швыряя о шершавые граниты: хотел тонуть? — тони.

Нет!!! Понял!!! Буду тут, хочу быть тут, останусь, вернусь, уцеплюсь: это то самое место, это тот самый город, — где же он был раньше? — здесь, здесь должно случиться, здесь будет Встреча, сюда пришлют гонца, посланника, вестника, отсюда заберут!..

Впрочем, в бытность его Игнатом его не забрали. В моменты смирения — маленькие передышки на лестничных площадках, перед тем как вновь начать взбираться по нескладным ступеням отчаяния, — он, как старательный, но заваливший экзамен студент, размышлял о допущенных ошибках, перебирал условия задачи, искал решение, теперь уже вроде бы ненужное, но могущее пригодиться в следующий раз, могущее пролить хоть какой-то свет на коварные замыслы экзаменатора.

Беда в том, что в уравнении слишком много неизвестных. Прежде всего, конечно, за что? За что сброшен и наказан? И есть ли способ догадаться об этом, находясь в плену мозга Носителя? Если же нет, то зачем дано это мучительное знание, мучительное ощущение совершённого, но неведомого греха?

Затем: отчего наказание длится так долго? Неужели это

навсегда? Нет, страшно об этом и подумать. Не может этого быть. Должен настать час, когда ему разрешат вернуться.

А если так, то сияет ли этот час одинокой звездой впереди, настанет ли он в вихре незримого пламени, с трубным звуком, подобным тому, что обозначил падение Слова в мир? Или же в каждой жизни, которую Д. суждено прожить в человеческом обличье, в плену косных треб и низких нужд, в темнице, склепанной из больного мяса, некрепких костей, отталкивающе-лиловатых внутренностей, — в каждой из этих жизней случается час, пусть краткий миг, который нужно угадать, ухватить; момент, которым нужно ловко воспользоваться, — но как?

И придет ли Гонец? Выслан ли Спаситель? Отправился ли на выручку — и идет себе, идет издалека — Друг?

Или же есть такое место в пространстве, такой час в столетии, такой спаситель в человеческом обличье, — такие, скажем, координаты, которые я должен разыскать, — догадаться, вычислить и разыскать, и быть там-то и тогда-то, и ждать Того, и вот все сойдется, и вот Оно случится?

Так, когда высоко над городом, над заливом, под желтой пустотой, над желтой пустотой, в желтой пустоте, на верстаке, он думал об Игнате, о той из своих жизней, когда он должен был быть Игнатом, о смысле этого очередного бессмысленного существования — он сейчас не помнил точно, дожил ли крепостной до преклонных лет, или же был смят и смят, размазан о торжественные граниты ревушим наводнением неизвестно теперь какого года, — Д. склонялся к мысли, что Промысел, возможно, проявил к нему одну из своих милостей — в кои-то веки! Что это был Знак, что ему показали то место, тот город, в котором надо ждать: город воды, город дождей и волн, город, не имеющий, в сущности, никакого понятного земного смысла, полузатонувший от рождения, плывущий и никуда не уплывающий, пышный, противоестественный, плещущий, губительный, ревущий, город, из которого нужно, казалось бы, бежать, спасаться, отчаянными саженками, взмахами слабеющих рук пытаться преодолеть бурлящую пучину, — но для тех, кто понял, кто видит, кто поднял глаза, высоко в тучах висит на золотой нитке маленький кораблик спасения.

А ведь есть же такие Носители, что ничего этого не замечают, думал Д., и случись ему быть одним из них, то есть в одном из них, он мог бы и пропустить, пройти, не поднимая глаз, низко надвинув шляпу, подняв воротник, защищаясь от водяного, бронхитного ветра. Нет, непременно ему надо было быть Игнатом, — диким и безграмотным, склонным к пиромании, да еще и выпоротым как следует, чтобы с размаху, всей силой удара ощутить Знак. Час был выбран неверный, Носитель тупой, Вестника он не встретил, но место — место было указано. Один — ноль.

Будем считать, что одна задача из минимум трех — ибо число неизвестных неизвестно — решена. Что же касается часа, то, как сказано, времена наступают.

Со времен Игната — точного года он установить не смог по причине полнейшей безграмотности крепостного — его тянуло в Петербург. Легко сказать: тянуло. Собственно, он все делал для того, чтобы оказаться в неуютнейшем, проклятейшем, прекраснейшем, самом сыром из городов. Но попробуйте-ка сами, родившись в следующий раз, проступив в следующий раз в цейлонском кули, в китайском велорикше, — а не хотите ли посидеть в шкуре австралийского аборигена? папуаса? экваториального негра? — каким-то фантастическим образом сохранить память о географии, звуках чужого языка, способах цивилизованного передвижения по земной поверхности, а если все это внезапно и проступает ключьями, озарениями, догадками в вашем кривом мозгу, попробуйте найти способ добраться туда, где назначена Встреча.

Скажем, был такой случай: Д., или как-то иначе его тогда звали, — только что, очевидно, умерев вместе с очередным человечком, проступил в тот момент, когда новый хозяин с удовольствием и в полнейшем телесном блаженстве спокойно ел себе свежую белую личинку жука, приятно шевелившуюся во рту. Еще целая кучка, заботливо накопанная старшей женой, шевелилась на деревянной тарелке, разжигая аппетит. И земля с них была аккуратно обтерта, и свежий листик под них подложен, — все было подано так, как и полагается подавать любимому мужу. Он подумал о том, как работающая его старшая жена, как старается угодить, хотя как

женщина уже никуда не годится: и кольца на щиколотках уже не так громко и призывно бренчат, и насечки на лбу и щеках, некогда так украшавшие ее черное, милое личико, теперь совсем не видны из-за морщин, как ни натирай их белой глиной. А вот кулинарка она такая же отличная, как в былые годы, и хозяйка прекрасная: всегда отполирует тарелку до лоснящегося блеска, не пожалеет ни слюны, ни пучков кукумуки. Надо сходить к ней, приголубить ее, пока младшая жена, ревнивая красавица, сидит в менструальном шалаше, — и сидеть ей там еще четыре дня, пока луна из объемной лепешки не станет круглым праздничным блином. Он открыл счастливый рот, чтобы отправить туда очередную порцию лакомства, как вдруг явственно ощутил, что он — пленный дух. Он замер, пораженный, не донеся палочку с извивающимися членистыми тельцами до зубов; замер, прислушиваясь к открывшейся внутри, в голове или груди, лестнице, вертикали, дороге, чему-то, названия чему не было. Он медленно отложил обеденную палочку, отстраненно проводив пищу остекленевшим взглядом: словно бы есть еду стало вдруг не так упоительно интересно, как только что, как всегда было. Он поднялся с корточек единым медленным, упругим движением, как медленная стрела во сне, он обвел глазом травяные шалаша, чисто подметенную площадку совета, трепетавшие на ветру листья, он посмотрел на красную землю и на синее небо с одиноким, стоящим в зените облачком, он услышал звуки: стук скалок и смех женщин, растирающих маниоку, он увидел людей, людей, людей, в деревне, и за холмами, и за синей линией реки, и за дальними холмами, и за теми холмами, где живут враги, и за линией горизонта, и за большой зеленой водой, увидел черных людей, и синих людей, закрывающих лица красными занавесками, и белых людей, как те, что приходили восемь лун назад, чтобы сменять хорошие длинные бусы на негодные слоновьи клыки, и, сказали, еще придут с новыми бусами; он увидел прозрачные, белые, как бы нарисованные в воздухе чужие города, их хижины, их площадки совета, он увидел прошлое, он увидел будущее, он увидел черных ангелов, он понял круг перемен, он услышал божественные гулы небесных барабанов — бесконечно далеко, как если бы звук

исходил из чужой страны. Он затосковал безумно, разом, мгновенно; он увидел себя уроненным в Юдоль, потерянным предметом, забытым в лесу, у дороги, запихнутым в угол, затертым и затоптанным пробежавшими мимо, — это он-то, огромный, как мир, все вмещающий, всему равный, все могущий! Босой мозолистой ногой он отодвинул тарелку с едой: надо сейчас же что-то делать, идти куда-то. Шелестели листья, было душно, смеялись женщины, из мужской хижины доносились спорящие голоса, он прошел мимо; на прогалине, с стороны от готовящих пищу, колдун мирно учил ученика макать стрелы в трупный яд, золотые мухи с зеленым отливом роились над тушкой шакала. Он вышел за круг деревенских хижин, над головой, в лиственной крыше, шуршало и свиристело. Это неправильное место, но где-то есть правильное. В какую сторону идти? Солнце стояло прямо над головой, солнце жгло сквозь просветы в листве, никаких сторон света не было. Где-то — но где? — виделось, мерещилось ему место, исполненное вод, бледных, серо-золотистых под светлым, выцветшим небом, вод, плещущих мелкой рябью, плоских, широко раскинувшихся, вспомнившихся, как старый сон, — место, где была назначена какая-то встреча, — но куда надо было идти, куда держать путь, в какую сторону, и сколько десятков лун, сколько сезонов дождей этот путь займет, и выдержат ли его старые ноги дороги, и что делать, если он встретит по пути большое зеленое, через которое нельзя переплыть человеку, — ничего этого он не знал. И взвылось ему, и немилы стали ни родная деревня, ни жены, ни дети, на которых он бывало возлагал столько надежд, ни уютные прохладные хижины, ни игра света в листьях, ни красная плотная земля под ногами, ни цесарки, с гулюканьем расхаживавшие среди травы и разыскивающие себе пропитание в мусоре. Нет, нет, не дойти, не найти! В этом облике знание у него отнято! И он повернулся и решительными шагами направился к колдуну, удивленно поднявшему на него глаза, и, не спрашивая разрешения, схватил пучок заботливо отравленных стрел, и с размаху воткнул их, быстро и резко, все пять штук сразу, туда, куда и нужно втыкать: в живот, на четыре пальца пониже пупка.

— Почему ты это сделал, паршивый человек? — закричал

колдун. Но было поздно кричать: он уже встал на путь Ухода.

Да... Но совсем другое дело, господа, совсем другое же дело, согласитесь, когда проступаешь в человеке цивилизованном, с быстрым умом, со знанием языков, с приличными средствами, позволяющими вести необременительный образ жизни. Досуг — первейшая необходимость для путешествия. Хороший управляющий, на которого можно оставить дела, — тоже. 7 июня 1873 года, проступив в обеспеченном французском господине, мсье Деладье, Д. с удовлетворением сказал себе, что о лучшем повороте колеса судьбы он не мог и мечтать. Проступил он утром, между пти-дежене и дежене. Еще с утра, умываясь по случаю прекрасной летней погоды прямо на каменной террасе, увитой виноградом — жена поливала ему на руки из зеленого кувшина с узором из красных маков, вещицы, купленной по случаю очень недорого в одной лавочке, владельца которой знал еще его покойный отец — очень, очень выгодная покупка — еще утром он, фыркая и плеская свежую воду на загривок и шею, размышлял о том, что надо бы съездить в Париж к блядам. Его славный домик в Экс-ан-Провансе был очень, очень мил, жена наполнила его безделушками, приобретенными по случаю очень недорого в прошлый раз, когда он ездил по делам в Бордо, — ему надо решить было кой-какие вопросы, связанные с виноторговлей, занятием, перешедшим к нему по наследству от покойного отца. Кроме того, жена принесла ему в приданое мукомольное заведение: две мельницы, склад, лавочку, — очень неплохое подспорье, особенно с нынешними видами на урожай пшеницы. Надо расширяться, строить заводик по производству макарони — сейчас, когда проникает новая безумная мода на эти тяжелые для желудка, но очень выгодные в производстве изделия, хорошо построить заводик, объединив его территориально с мукомольным делом, тогда можно сэкономить на транспорте и оплате перевозки.

— У вас капает с бороды на сорочку, — с неудовольствием заметила жена.

— Так снимем же сорочку, — игриво отвечал он и снял сорочку, отметив, как порозовела жена при невольном взгляде на его белое, полное, здоровое тело. Он и сам посмотрел

на свои пухлые, почти женские груди, напомнившие ему, что — да, надо съездить в Париж к блядам. Могу себе позволить.

Жена подала ему полотенце, он утер лицо и обсушил тело; тем временем на веранде, также увитой виноградом, на белой скатерти, очень недорого по случаю приобретенной в Лионе, уже стоял свежий белый хлеб в корзиночке, козий сыр на фарфоровой доске с узором из незабудок — очень недорого приобретенной в лавочке папаши Кокю в прошлом году, — свежавыжатый апельсиновый сок из оптовой, очень недорого приобретенной партии апельсинов, и свежесваренный кофе из невероятно дорогого, роскошного сорта йеменских зерен, раздобытого у одного подозрительного типа в Марселе. Но кофе, как и дамы, был той радостью жизни, которую он мог себе позволить. Два свежесваренных яйца ждали его под теплой салфеткой. Он позавтракал.

И приблизительно через час после завтрака, прислушиваясь к прекрасному прохождению пищеварительного процесса, все еще допивая остатки кофе и затыгиваясь приобретенной по случаю сигарой, с подробностями обдумывая свою поездку в Париж, он внезапно и без предупреждения осознал себя пленным духом. Были ли причиной тому свежие яйца, — на минуту задумался он, — или причины лежали глубже, но как бы то ни было, он осознал себя пленным духом и ощутил острую, настоятельную потребность переменить задуманный маршрут и направиться не в Париж, а в Петербург, — и даже сию же минуту, несмотря на съеденное и выпитое, он поднял туловище с кресла, прошествовал в кабинет и, разыскав нужный том энциклопедии, поинтересовался, куда потянуло его, неодолимо и неборимо, в это свежее, южное, виноградное утро.

“Петербург — теперешняя столица Московии и Тартарии, — прочитал он в увесистом кожаном, с золотистым тиснением томе, солидно и приятно пахнущем чердачной плесенью, недорого, по случаю приобретенном в одной из поездок по делам винодельческим, — исторически столицей этой Сибирской страны, расположенной в Уральских горах, являлась Москва, управлявшаяся многими

Скандинавскими Князьями, наиболее известным из которых считается Иван Четвертый Чудовищный, за свою жестокость прозванный Васильевич. Жители Петербурга пугливы, бледны, промышляют рыбой и носят островерхие меховые шапки. Женщины отличаются необычайным развратом. Большую часть года страна покрыта снегом. См. Sougrob”.

Мсье Деладье, ощутив просторы, открывшиеся в его внезапно призванной экс-ан-прованской душе, задумался, невидящим взглядом глядя сквозь страницы энциклопедии, на ходу меняя планы поездки, и, решительно решившись, хлопнул ладонью по книге и крикнул: “Решено!” — и стал укладываться.

Во всем Экс-ан-Провансе нельзя было найти в эту летнюю пору ни одного меховщика, а уж о скорняке, могущем быстро и недорого изготовить требуемую обувь, теплые и широкие снегоступы из овечьих шкур, и говорить не приходилось. Негде было взять и ездовых собачек. Жена пришла от соседней заплаканная: соседи рассказали ей, что покойная кузина Мими, в свое время служившая в Иркутске шляпной модисткой, говорила, что в России два царя: помимо жестокого Ивана есть еще Пугачофф, чья фамилия означает “пугать до смерти”, а в национальном гимне поется о том, как шофер саней замерз насмерть в степи оттого, что выпал снег. Но это его не поколебало: неясное обещание встречи — какой, с кем, он не мог сказать, — гнало его в путь. “Отличаются необычайным развратом, — думал он нетерпеливо. — Необычайным”.

Он решил, что приобретет необходимые теплые вещи, когда встретит на пути самоедов, и уложил чемоданы обычным образом: много нижнего белья, шейные платки, пудра от блох, шарф, чтобы защищаться от пронизывающего ветра, носки. Он еще раз объяснил управляющему, какие документы где хранятся, какие контракты требуют немедленно подписания, а какие, наоборот, выматывания поставщика до такого состояния, чтобы он скинул полпроцента, еще раз напомнил, из какой деревни дешевле всего нанять крестьян для ванданжа, — он не рассчитывал вернуться ни к осени, ни даже к следующему лету; он наказал внимательно

следить за курсом ценных бумаг и быстро делать необходимые выгодные операции; он съездил попрощаться с любовницей, — она плакала; он поцеловал жену, — она тоже плакала, — и ранним утром, затемно, буквально через две недели после внезапно принятого решения нанятый дорожный тарантас, подребезжав по мощеным улочкам городка, съехал на мягкое, пыльное, сельское шоссе, направляясь на северо-восток. Можно было взять и на восток, но там были проклятые боши, только что — *merde!* — отнявшие у нас Эльзас и Лотарингию. Виноградники лежали в мягкой мгле по обе стороны белеющей дороги. Свежий предутренний холодок бодрил, ветерок бессонно крутил паруса мельниц, чьи очертания, как черные крылья серафимов, проступали на разгорающемся зарей горизонте.

Внезапно его обдало внутренним холодом: макарони. Как же он забыл? Надо было сказать управляющему, чтобы тот, не теряя ни минуты, приступил к постройке заводика, выписал необходимое оборудование, нанял итальяшку, понимающего в производстве этих отвратительных мучных изделий, к сожалению, но и к счастью, все более популярных в нашей стране, и за время его отсутствия полностью наладил это выгодное, прибыльное дело. Он высунулся в окно, обернулся: городок всеми башенками, всей ломаной линией высоких домов чернел на алом небе, как вырезанный из бумаги. Высокие трубы вздымались, как толстые пучки макарони. Один день не в счет!

— Поворачивайте, я кое-что забыл! — крикнул он недовольному вознице.

А шанс был так близко, расстилавшиеся перспективы были так манящи! Д., вспоминая, сожалел об упущенном, едва не прокусывал себе палец от досады. Вот что получается, когда протупаешь в подходящем, казалось бы, по всем статьям Носителе: расслабляешься, доверяешь его земному разуму, расчетливости и умению делать земные дела, отвлекаешься от избранной цели, отклоняешься от пути, указанного путеводной звездой. Мог бы, мог уже к осени 1873-го проживать в Петербурге — денег хватало, — учить первые слова чужого языка: “карашь”, “пошель вон”, “мадам, ви не соскушили без вашш мушш?”. Мог, — но жадность сбила

его — или месье Деладье — с пути, и, вернувшись в свой славный домик, увитый виноградными листьями и обсаженный лимонными деревьями, — аврора уже поэтически позолотила черепичную крышу, розоватый свет играл на оштукатуренных стенах, спугивая ящеров, приманивая виноградных улиток, — он застал управляющего в своей супружеской постели, двуспальной, скрипучей, антикварной, очень недорого приобретенной по случаю в Тулузе. Раскинутые ноги, запах пота и мускуса, неубранная ночная ваза, еще затемно до краев использованная самим месье Деладье, — ужасно. Даже не убрали вазу, так им нетерпелось. Управляющий был моложе и сильнее, и в последовавшей драке он наповал убил месье Деладье бронзовым подсвечником, очень, очень недорого приобретенным, — но месье Деладье уже не было.

Подлянка Промысла, — или же, наоборот, милость, давшая Д. еще один шанс тут же, не сходя с места, — сказала в том, что он сию же минуту проступил в управляющем. Головокружительное чувство, испытанное им, когда он, только что живой и здоровый, свежий и удобно одетый, исчез неизвестно куда, и вместо этого вот он стоит босыми ногами на каменном полу, еще липкий после любовных объятий, в белой ночной рубаше, тяжело дышащий, сжимая в руке подсвечник, — чувство это, сопровождавшееся тупой болью в печени, колотьем в боку, резами в желудке и нытьем в суставах, было непривычным, но ситуация имела свои преимущества: неостывшее желание месье Деладье отправиться в Петербург мгновенно сформировало в управляющем план побега из опасного дома в том же заветном направлении; крикнув ошеломленной Мари: “Жди! Бегу за врачом!” — он на ходу натянул панталоны и, подобрав с полу чуть окровавленную шляпу покойника, прикрывая ею лицо, вскочил в мирно ждущий у ворот тарантас, махнув рукой в том смысле, чтобы продолжать прерванный путь.

К сожалению, глупая женщина сдала его жандармам, и, задержанный уже к вечеру, он был, после года судебных проволочек, гильотинирован. Обидно. Ведь мог и доехать. Правда, он был насквозь болен — нервный, малопрятный тип с сильно волосатыми ногами. Он немного удивился,

что от гильотины так сильно болит голова. Впрочем, сразу же выяснилось, что голова болела не у казненного Носителя — у него уже ничего не болело, — но у нового, оказавшегося лирическим русским пропойцей в уездном городе, где-то в глуши. Д. проступил в нем — звали его, попросту, Николай Иванычем, — когда тот лежал похмельной головой на льняной скатерти, на столешнице, едва пробуждаясь от тяжелого забытья. Семья тараканов, не стесняясь, деловито выносила из-под его редкой, распластавшейся на скатерти бородавки последние крошки хлеба. Николай Иваныч открыл глаза и сейчас же закрыл их: ломаные желто-красные плоскости с бритвенной остротой прорезали его мозг во всех направлениях и вышли через веки. Николай Иваныч сделал вторую попытку — и плоскости стали толще, и уже не могли выйти, но застряли в его голове как попало, мешая видеть. Чтобы обмануть плоскости, Николай Иваныч прищурил один глаз. Но они сейчас же перевернулись, перестроились и начали давить ему изнутри на виски. Кроме того, во рту оказалось два лишних языка, совершенно сухих и росших не оттуда, откуда можно было бы ожидать. Вдобавок, пока он спал, или как-то иначе отсутствовал, кто-то вложил ему в прищуренный глаз молоточек, который сейчас же начал работать, а в неприщуренный плеснул клея. Что же касается тела Николай Иваныча, то его не было, ибо эту аморфную комковатую массу без нервных сигналов, чей дальний край стекал в неопределенную даль, в какие-то степи, материалист не мог бы признать телом, а Николай Иваныч был материалист, во всяком случае, до сегодняшнего дня; впрочем, он привычно совершил ежедневное чудо: без всякого усилия разума, одним лишь рептильным мозгом, ответственным за инстинкты, он собрал массу воедино, перевалился и перестроился и стал шуплым мужичком, обрушенно сидящем на венском стуле за неубранным столом. Ему только что приснилось, что гильотина отрубила ему голову; как убежденный материалист, Николай Иваныч сразу понял, что сон сей произошел от неудобного положения, в котором ему случилось проществовать в объятия Морфея накануне, и от обильного воздаяния Бахусу, случившегося накануне же.

Он поднял голову к потолку, вяло пристукнул красным кулачком по скатерти и снова уронил голову.

— Пизжж-визжж, — сказал Николай Иваныч.

— Что такое, друг мой? — спросил встревоженный женский голос. Озабоченное лицо в пенсне склонилось над ним.

— Пизжж-визжж, — повторил Николай Иваныч, помогая себе пальцем. — Хочу пизжж-визжж.

Женщина — по-видимому, то была Ольга Львовна, акушерка, посвятившая себя народу и, между прочим, безумно влюбленная в Николай Иваныча и мечтавшая спасти его от губительного пристрастия — без какого бы то ни было успеха, — покраснела от натуги понять.

— Я не понимаю, друг мой, что вы хотите?.. Провизии?.. Провизора?.. Подвижничества?..

— Пиззджжжвижжжников хочу, переджжжжников! — уда-лось Николай Иванычу.

— Переджжжжников! — изумилась Ольга Львовна. — Откуда же в нашей глуши... Да и к чему...

Ольга Львовна относилась к старой школе борцов за народное счастье: отрицала всякое искусство (“Да поймите же вы наконец, Тимофеев, что всех ваших аполлонов нужно перемолоть обратно в гипс, для перевязок сельских тружеников!”), но в последние годы — веяния ли времени, или просто возраст — втайне любила прекрасное: тут полочку каслинского литья, там вышитую крестиком елочку на полотенце. Д. вспомнил, что он, проживая у нее в качестве хлебника, ежевечерне вел с ней разговоры о мироздании, планировке белых городов будущего, медицинских казусах (поворот на ножку, поворот на плечико, подвывих, кривошея), об электричестве и цареубийстве, но говорить об искусстве Ольга Львовна возмущенно отказывалась. Впрочем, когда он, после очередной ночи, проведенной в канаве, там, где застал его сон, немного стесняясь, принес ей усмотренный им василек, несколько помятый и слегка им же самим заблеваный (он, правда, обтер его о рукав пальто), она, пристыдив его за внимание, выказанное сорняку, а не более полезным народу злакам, все же сохранила растение, засушив его между страниц тома “Женские болезни”.

Теперь, к очевидному смущению Ольги Львовны, он с раннего утра хотел передвижников. Д. сам не знал, что и подумать: очевидно, он проступил в Николай Ивановиче во сне, чем и объяснялось временное затмение их общего разума; разум же этот был пропит до такого безобразия, что не давал духу не то чтобы взлететь — не давал даже взмахнуть крылами, приподнять, так сказать голову; о голове, впрочем, смешно было и говорить. Несмотря на свою первичность и предвечность, дух вяз и тонул в зыбучей трясине носителя; непонятно было даже, в каком направлении двигаться. Наличествовала лишь сама идея передвижения, прояснить какую-то было бы затруднительно: Николай Иванович был смущен не менее Ольги Львовны.

Отрезанная в прежней жизни голова еще плохо держалась в жизни новой; Николай Иванович осторожно положил ее обратно на стол. Ему смутно представлялось — если позволяли беспокойные, самовольно перебежавшие внутри головы плоскости, — что в какой-то из предыдущих жизней его дух бродил в хозяине, чьим смыслом существования было изготовление вина; в этой же он словно бы выпил все то, что произвел в жизни прежней.

— Spiritus vini, — пробормотал Д.

Ольга Львовна поняла его по-своему и укоризненно поднесла ему стакан рассола.

— Не надо начинать с утра все то же самое, Николай Иванович! Вы опять вчера лишнее... Давайте-ка я вам лучше супчику...

Николай Иванович жил в лишней комнате у Ольги Львовны, делая вид, что платит за постой, она же делала вид, что берет плату. Платой были все те же самые три рубля — помятые, с оторванным уголком, — купюра, давно и хорошо знакомая Николай Ивановичу. Ежемесячно по первым числам он, если мог встать с утра на ноги, помятый лицом, но аккуратно причесанный, — а пальто Ольга Львовна отчищала и отглаживала с вечера, — стучал мужским, хоть и нетвердым стуком в дверь столовой.

— Да! — откликнулась Ольга Львовна.

Он входил с достоинством, почти нарядный, торжественный, и вручал ей плату за жилье и стол.

— Ну зачем же, можно и завтра, — бормотала Ольга Львовна, принимая трешку.

Через месяц трешка снова оказывалась в кармане пальто, чтобы, проснувшись утром, Николай Иваныч мог ее там найти и, не теряя достоинства мужчины и гражданина, оплатить съеденное, выпитое и прожитое.

Деньги Ольга Львовна презирала; презрение давалось ей относительно легко, так как после смерти отца у нее были кое-какие средства. Кроме того, ее мать присылала ей из южной губернии то подводу-другую свеклы, то пудик засахаренных фруктов, то скатки полотна, а куры у Ольги Львовны были свои. Живя нахлебником в лишней комнате, меблированной койкой, комодом и суровым шифоньером — в зеркале его уже ничего нельзя было разобрать, кроме теней и язв, — Николай Иваныч уже пятый год все собирался найти себе работу, дающую много пищи уму и сердцу, работу, вдохновенно осмысляющую жизнь и соответствующую высокому человеческому предназначению, — но как-то все откладывал поиски. Вечерами они говорили об этом: Ольга Львовна, вздыхая и не одобряя, выставляла штоф, уровень в котором Николай Иваныч измерял ревнивым глазом; хлеб, огурцы, грибы, сало, вареную картошку, домашнюю свиную колбасу и, конечно, вареные яички, хотя до еды он, к сожалению Ольги Львовны, был не большой охотник, и они говорили о высоком, о предназначении, о том, какие светлые силы, в сущности, таятся в народе, — силы, которые сейчас же проявятся и брызнут во все стороны, как только будут сброшены цепи. Выпив, Николай Иванович и сам светлел, сбрасывая цепи плотской тяжести, становился говорлив и вдохновенен, — его папаша тоже в свое время, пока его не расстригли, читал замечательные проповеди, так что талант этот перешел к нему по наследству, хотя, как материалист, Николай Иваныч, натурально, ни в какую “наследственность” не верил, а только в личные способности индивидуума. Жил он у Ольги Львовны как у Христа за пазухой, хотя, как материалист, натурально, и в Христа не верил, и они порой язвительно говорили с Ольгой Львовной о “непорочном зачатии”, в котором, уж поверьте, она, как акушерка, понимала более, чем кто-либо.

Ольга Львовна была девицей, тридцати восьми лет от роду, на все имевшей свои взгляды, самостоятельной; она полагала и говорила, что жалость унижает; а все же, когда он порой, сидя по другую сторону стола, по другую сторону штофа и домашних яичек, под яркой керосиновой лампой, глядел на ее красные рабочие руки в кружавчиках манжет, на склоненную голову — пышные волосы, пенсне, длинный красный, как бы лакированный нос, — и смутно представлял себе ее одиночество посреди рожающих, страждущих и радующихся, он сожалел без слов о том, что не может унижить ее жалостью, — и рад бы, да не может, ибо пропил вчистую свое мужское естество, свое достоинство, свою волю; он чувствовал, что под бельем, а точнее, под тряпьем, укрытым глубоко под пальто и развалинами сюртука, он помят и нечист, и сам не хочет, если по-честному, изменить это; что беглые взгляды, которые он машинально, лениво бросал — конечно же — на ее суховатую, ледащую фигуру, вызывали в нем лишь усиление всегдашних мыслей о покатоности бутылки, и немедленно после этого — о количестве того, что в бутылке, о том, хватит ли, и крепкое ли, и есть ли вторая в запасе, и если второй в поле зрения не было, то его била тревога и потели руки, а если он ухватывал взглядом плохо припрятанный бутильон где-нибудь в буфете, то его блаженно обливало — от ушей до щиколоток — чувство счастья, покоя, прочности мирских основ, и тогда глаза его сверкали словно бы любовью, и язык был остр и смел, и голос креп, и словно бы внутри что-то взмывало, — вдохновение?.. И ежевечерняя белая скатерть, накрахмаленная Ольгой Львовной, сияла под ярким светом керосиновой, чуть пованивающей лампы, и огурцы были зелены, как в раю, в который он, как материалист, впрочем, не верил, и сало розово, как женская, вероятно, плоть — но он давно не интересовался таковою, — и пылали глаза Ольги Львовны, обожавшей его через стол со всей ударной силой не востребовавшего девичества, и что-то между ними подымалось и сверкало, сверкало, — *spiritus vini*, или другой какой спиритус... и часа через полтора, заплетающимся языком повторяя все то же, все одно и то же, все невнятное важное то же, тыча перстом в стол для убедительности или же вздымая его

к потолку, он плыл и парил поперек света, сала, тревожного ее взгляда, — плыл и не двигался с места, и дрожащей рукой доливал последнее, до капли, и грубо говорил: “Давайте еще, не рассуждайте”, и она покорно приносила заветное еще.

“Джженщищина должна быть свободна”, — тыкал он в стол, и Ольга Львовна энергично кивала головой, лакированным костистым носом: да, да, должна. Обязана. Иногда — на мгновение, ясное спиртовое, пронзительное мгновение, — он словно бы воочию, словно бы широко открытыми глазами проснувшейся, алмазно неподвижной души видел себя и ее со стороны: себя, небольшого, редковолосого пожилого блондина, в светло-грязном летнем пальто, с морщинистым лицом пропойцы со стажем, несвежего, вдохновенного, подъявшего к потолку назидательный перст за неимением лучшего, и ее — вытянувшуюся вперед, навалившуюся несущественной грудью на стол, волнующуюся, упивающуюся его смутными словами, преданную и вечную его рабу. И на секунду он знал, что, позови он, махни рукой, прикажи, крикни, — она повалится ему в ноги, и омоет их, и оботрет пышными волосами, и завопит от счастья служения своему единственному, — видение исчезало, он собирал расплывшийся язык в относительно приличную для нужд артикуляции массу и продолжал свои указания человечеству (да, да, — кивала головой Ольга Львовна), а потом, внезапно ощутив смутный позыв, вставал и, роняя стулья, сильно отпихивая мебель, подло стронувшуюся с места в эти вечерние часы, заслонившую выход, — выходил на крыльцо и пускал долгую, невидимую в сумерках струю в остро, сыро, таинственно пахнувшие жизнью травы. Потом он обычно падал и засыпал, летом — в лопухах, так что гусеницы успевали обстоятельно устроиться в его волосах, зимой — в сенях; до комнаты ему было не дойти, потому что сенной хлам, ведра и хомуты, сговаривались и перегораживали ему дорогу.

Утром, как сегодня, все было плоско и ничем не озарено. Но сегодня, несмотря на стук и хлам обычного ремонта в голове, он осознал, что он — пленный дух. И это несмотря на его-то убежденный материализм.

Николай Иваныч, продолжая удерживать глазной мышцей часть плоскостей, норовивших выпасть через глаз, и, отгоняя утренней, крепнувшей волей молотки из лобной камеры в затылочную, ел супчик. Был, вероятно, полдень. Ольга Львовна — из взора ее сильным, широким потоком струилась безвозмездная любовь, — нарезала серый хлеб, выловила соленые огурцы из бочки; сало розовело на синей тарелке. Женщина совершенно не понимала, что она делает, до смешного: своими руками подталкивала его к новому кругу рюмашевичей. Николай Иваныч обозрел закуску и, не желая попусту включать лишний раз речевой аппарат, молча протянул в направлении лица Ольги Львовны руку с параллельно разведенными большим и указательным пальцем: жест, прекрасно ей знакомый и ненавистный, обозначающий: вот столечко.

— Стоит ли? — пробормотала она.

— М-м, — сказал Николай Иваныч.

Оно растеклось прозрачно-белым благословением, впиталось в тяжелые, бесконечно тяжелые, сырые, неприятные, неподъемные, свинцовые, никому, включая его самого, не нужные руки-ноги, просветлило их, пролилось искристым огнем по хребту, сладко провело ангельской рукой по затылку. Вдруг наступило счастье. Вот не было — и вот оно, сразу, наступило. У него даже слезы выступили на глазах, и он посмотрел на нее с благодарностью и снова протянул руку с параллельно расположенными пальцами. Она вспорхнула со стула, красавица, спасительница, душа, муза, бабочка, облачко; она налила под самый ободок, она поднесла — холодное, святое, обетованное. Он кивнул.

Счастье, легкое, воздушное, прозрачное, лежало у него на спине как невесомое, детское тело, волшебным ухватом оно расположилось на затылке, между ушей, дуло ветерком в ложбинку на шее, там, где воротник. Надолго ли? Нет, ненадолго.

Медленно, секторами, просыпался так называемый мозг. Я пленный дух, — осознал Д., — я сейчас Николай Иваныч, я в Николай Иваныче, год стоит — 1874-й, я ем суп, у меня сизый нос, я не хочу поднимать глаза на Ольгу Львовну, умирающую от нежности напротив, молитвенно провожающую

взглядом каждую ложку щей со свисающей капустой, внимающей хрусту огурца в моем немолодом и неромантическом, опустелом рту. Отрубленная голова прошла, будто никогда и не болела, внутри открылся путь. Надо двигаться, надо передвигаться, перемещаться, где-то назначена Встреча. Какая? Не знаю, отупел тут. Лопухи. Комната за три неразменных рубля.

Доел, вздохнул, поклонился, шаркнул стулом, подошел к окну. За окном сеялся серенький день начала октября: еще тепло, но уже неизменно гнусно, моросит дождь, но такой слабый, что даже зонтика не нужно; посреди улицы стоит, расставя ноги, баба в ковровом платке и солдатских сапогах. Я пленный дух. Я пойман, я тут. Вот мое место: уездный город, серое небо, красноносая, сухопарая госпожа, она же раба, — тут какой-то фокус, тут нужно долго думать, но думать нечем, вместо мозга — вареный, слабый студень, — госпожа и раба, засохшая, несостоявшаяся возлюбленная. Рассвет — сумерки, рассвет — сумерки, вспышка водочного блаженства, и снова: рассвет — сумерки. Где-то там — Петербург, тревожный плеск осенней воды, готовой взбунтоваться в любой миг, — может быть, ветер западных морей уже нагоняет воду в завернувшиеся рукава рек, которых я никогда не видел, о которых боюсь подумать, но знаю, чувствую, что когда-то, в прежней жизни, был там, дышал, смотрел во все глаза... Знаю: Нева, Нева, потом еще Нева, а потом — как знак — Нева с иной водой: Невский проспект, река огней, людей, карет, и шляпок, и взглядов из-под шляпок. Там возможна Встреча.

Д. стоял и смотрел, полдень переходил в ранние сумерки, за Ольгой Львовной пришли, — очередная бессмысленная баба рожала двенадцатого младенца, — интересно, что будет он делать через сорок лет, в 1914-м? через шестьдесят, в 1934-м? — должно быть, ездить на электрических паровозах по электрическим дорогам и не знать наших забот, — Николай Иваныч стоял у окна, смутно мучимый изнутри новым чувством пути, передвижения, потребности ветра в лицо. Уездный город; какой? Карты не было, но не может ведь быть, чтобы все дороги не вели в Петербург, на влажную поляну, в бледный болотный сумрак, зыбкий и негасну-

щий. Вот смеркается, накрапывает, в доме мерно тикают часы, сейчас она придет, возбужденная, пахнущая родильной кровью и сладкими испарениями чужих женщин; расстегивая мантильку, отставляя акушерский саквояж, торпливо заговорит о казусе: наложение щипцов, поворот на плечико. Она осмотрит его ревниво и любовно: не пил ли без нее? ждал ли? — и опять собирание на стол, вышитая скатерть, свет керосиновой лампы, штоф и яички, сало и огурчики: весь страшный, страшный пыточный инструментарий, щипцы и клещи для свободного духа, для рвущейся неизвестно куда души. Вот сейчас она войдет, с моросью на щеках, с научным огнем в глазах, — в руках ее плита любви, и она ударит ею, плашмя, по голове, только что так удачно приросшей обратно, — чтобы зависел, чтобы не встал, не приподнялся, не смог пошевелиться, чтобы не ушел, чтобы нашарил три рубля в рваном кармане вовремя, без ущерба для гордости, для распавшегося в труху достоинства.

Надо уходить. Был знак. Передвижники, передвигаться, уезжать. Тусклый фонарь на станции, деревянный перрон, но поезд придет, не совсем же мы татары. Закутаться в бедное пальто, поднять воротник, темными задворками, мимо складов и заборов, мимо горестных, облетевших кустов, мимо каланчи и трактира — полверсты до станции. Ударят в рельсу: осторожно, приближается поезд. Дальний гул, дрожание рельс, дрожание деревянного настила, истошные гудки, фонарь, белые жар и пар, чух-чуханье паровоза. Билет. Воспарить. Уцепиться и вознестись. Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня. Мирозданье лежит в руинах, и надо уходить отсюда.

Д. вспомнил, что на днях снова заплатил неразменную трешку, где-то должна быть трешка. На каком-нибудь комоде, в какой-нибудь шкатулке. Где люди держат деньги? Он забыл. Деньги ему давно уже были не нужны, ведь он, как убежденный материалист, жил подножным кормом: яичками, огурчиками, грибочками, и единственный дух, коего он взыскал, был винный спиритус, в плену какового он и провел несчетные годы, чтобы теперь — о ирония, о знаки — самому стать пленным духом. Папаша имели бы что сказать

об этом, если бы не померли, расстриженные, под забором. А может быть, и не под забором, откуда ж нам знать. Николай Иваныч облизал внезапно пересохшие губы, осторожно приотворил дверь на половину Ольги Львовны, — сердце немножко забилося, — осторожно просунул голову: темно, — подумал, что никогда там не был, — странно. Но ведь его не приглашали. Или приглашали, но он не расслышал?.. Пахло сухой травой и чем-то женским. Медициной не пахло. Он зажег свечу, толкнул дверь, — немного заело, что-то мешает; толкнул сильнее, дверь поддалась и распахнулась, что-то упало и разбилось со звоном. Ч-черт. Он выслушал стон петель, выслушал мелодию разбившегося невидимого чего-то; втиснулся в утробу ее спальни, девически пустой: кровать, комод, половичок. В простой раме над комодом проступил из тьмы словно бы автопортрет Николай Иваныча: тревожные глаза над бородой, колеблющееся пламя свечи в поднятой руке. Николай Иваныч и Д. посмотрели друг другу в глаза через невидимую воду зеркала. А, пропади все. Он торопливо обшарил столешницу комода, нащупал и взломал шкатулку, сорвав бородку ключа: счета, записи, сучища. Он рывком выдернул ящик: еще суше, еще женственнее пахло на него; он отставил свечу и стал рыться обеими руками: панталоны, что ли, какие-то тряпки, где трешка? Где, на хер, трешка? У него Встреча, его ждут, далекий сырой серебряный город лежит и ждет, раскинув водяные рукава, разбросав ноги улиц, сейчас покажется поезд, уже дрожит земля под ногами от дальнего гула, где же трешка? Под подошвами хрустело разбившееся стекло, он выбрасывал белье на пол, первый звонок, начальник станции в фуражке с красным околышем дает отмашку: отойдите от края, господа, семафор показывает зеленый, на языке железнодорожных знаков сие означает, что путь свободен, таковы правила, господа, стоять на краю не дозволяется.

Нижний ящик был попросту, обидно, вульгарно заперт, Д. стал бить ногой, рвать, вырвал язычок замка — трухлявая у нее мебель, — там, обернутые тряпками, лежали предметы; сорвал тряпки; пламя плясало; дневники. Он пролистал, он протряс коленкоровые тетради — не выпадет ли ку-

пюра. Не выпала, черт!.. Слова, написанные в тетрадах, он читать не стал, отбросил, погрузил руки глубже.

На самом дне ногти стукнули о жестяную коробку: вот! Д. схватил чаемое и с размаху сел на кровать, пискнувшую под его легким весом, и отцарапал крышку, и были деньги. Трешка, и червонцы, — много, — и четвертной билет, и еще один четвертной. Пламя свечи шевелилось, и тени денег шевелились, призрачно умножая сумму, и он смотрел как замороженный, и в темном зеркале, над разоренным комодом, Николай Иваныч тоже смотрел как замороженный на свою, такую же, совсем не такую, еще более призрачную, мнимую добычу.

Д. сложил бумажки и запихнул их глубоко в карман; нет, там дырка; переложил в другой, левый, всегда более крепкий; проходя через столовую горницу, поймал углом глаза стеклянистый блеск штофа. Поколебался, повернулся, взял его за тонкую, детскую шейку. Полный стакан. Так, и еще один. Пришло счастье.

Ссыпался с крыльца во влажные от дождя, еще высокие лопухи, поскользнулся, но удержался на ногах; успеваю. Задворками, мимо сараев и складов, каланчи и заборов пробрался к высокой насыпи; со второй попытки вскарабкался по оползающей глине и счастливыми руками во тьме ощупал стальные, вонючие от креозота, напряженно-дрожащие рельсы. Он выпрямился, расправил крылья и пошел, а потом побежал по рассветающим шпалам. Тьма рассеивалась, сзади ширилась заря, высокий и истошный звук архангельской трубы взмыл и накатил, догнал и обрушился на него стоочитым, огнедышащим колесом перемен.

55 + 5, или Как мы с Розановой рисовали птицу

Михаил Володин

*Идиоты! Вы вспоминаете в мои дела, только потому, что все это делало — интересно. А еще интереснее — КАК я это делало. И если вы, кретинки, не можете устоять перед обаянием моей личности, то называйте это явление — «заставлять работать не себя» — кратко и грамотно !!!

М.В. Розанова. Июнь 1999, по факсу из Парижа.

“Розанова в Америке”, — услышал я от знакомого, и сразу эхом откликнулось где-то внутри: “архивы Синявского”. И плотоядно раздулись ноздри, и мной овладел редакторский азарт. Найти, упрямить, уболтать, убедить... И я начал охоту.

Впервые о Розановой я услышал от Чернова. “Марья была в Москве, я ей всунул твой журнал”, — сказал он по телефону. Сквозь эти слегка фамильярные “Марья” и “всунул” проглядывали опаска и глубокая почтительность.

Второй раз — от Гениса: “Марья сказала, что ничего не даст, но чем черт не шутит — попробуйте. Она непредсказуема. Заставить ее делать то, что хочется вам, невозможно”.

Марья Васильевна была где-то в Америке. Месяц ее носило между двумя океанами, а я шел по следу с телефоном в руке. Набирал какие-то номера, пока наконец мне не удалось застать ее на излете, в Нью-Йорке, в доме у американской славистки Кати Непомнящей.

Я: ...Так сможем мы увидаться в пятницу? Я еду в Нью-Йорк из Бостона специально, чтобы встретиться с вами.

МВ: А ... его знает. Я вам сейчас по этому поводу анекдот расскажу. Идет лев по лесу со званого обеда, совершенно обожравшийся. Навстречу — заяц. Лев думает, хорошо бы съесть, да сыт, не может. И тут ему мысль в голову приходит: достает блокнот, подзывает зайца и говорит — жду тебя завтра, во вторник, на ужин к семи вечера. Буду тебя есть. Хорошенько помойся. Косой почтительно кивает и говорит: приду непременно, вашродие... Лев идет дальше, а навстречу ему кабан. Царь зверей назначает кабана на среду. Следом лось. Лосю достается четверг. Наконец лев видит сидящего на дереве павиана и спрашивает, что тот делает в пятницу. А павиан лениво так отвечает: а ... его знает, я без плана живу. “Ну, хорошо, без плана так без плана, — уныло соглашается лев, — только зачем об этом на весь лес кричать?”

— Вот так и я, заранее не планирую, — подытоживает МВ бородатый свой анекдот. — В Нью-Йорке знаете сколько всего интересного есть!

Я благодарю за роль, которую МВ отвела мне во всей этой истории. Она посмеивается. Кажется, разговор получился. В результате она соглашается, чтобы я приехал в пятницу утром, часов в десять.



— Никуда не уйду, буду дома ждать... — обещает МВ.

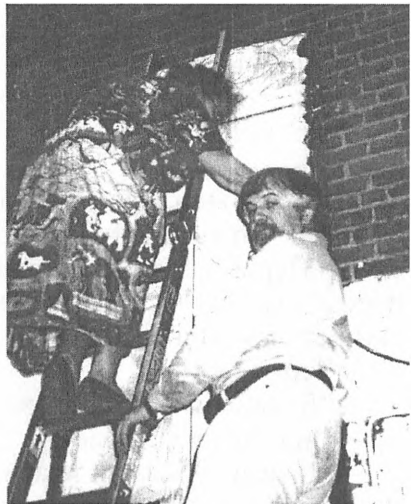
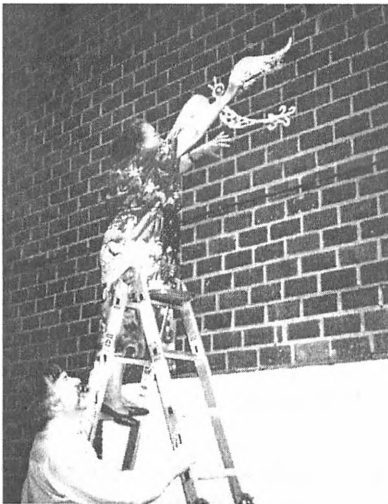
Как назло, отправляюсь в поездку без единой карты. Дорогу в Нью-Йорк и те районы города, в которых собираюсь быть, знаю вполне прилично. Или, точнее, мне кажется, что знаю. Ночую в Харфорде. Выезжаю в восемь. Обычно двух часов хватает с лихвой, чтобы добраться от Харфорда до Нью-Йорка. Но только не утром рабочего дня. Пробки и заторы начинают возникать задолго до нью-йоркских пригородов. Пытаюсь срезать угол и перестаю понимать, где я есть. В результате опаздываю ровно на час. Приезжаю в 11.

МВ держится на удивление добродушно и смиренно. Предлагает чай. Разговор начинается с прямого “западного” вопроса: зачем пожаловал? Я же “по-восточному” пытаюсь юлить, затягивать прелюдию, уходить от рукописей Синявского...

— Я только начинаю с журналом.... Вы его видели? Чернов должен был вам его передать. Вот, уже и второй номер вышел... Мне очень интересно, что вы о нем думаете.

МВ рассматривает журнал, как будто впервые видит.

— Да, кажется, Чернов что-то передавал. Сейчас посмотрим... (Смотрит в оглавление.) А зачем вы это все печатаете? Можете мне ответить, что за журнал вы хотите выпустить?



— Еще и сам не до конца понимаю. Есть несколько обязательных условий — неэлитарный, самокупаемый, нежелтый... Вот это, наверное, и поможет сформировать концепцию. Но она появится позже... А пока: 40% прозы, 20% стихов, 40% всего остального.

— А зачем у вас в редколлегии Кушнер? Это — поэт для семнадцатилетних девушек, которого читали 20 лет назад. Приговым я уже сыта. Что у вас свое есть? И кому нужен сегодня литературный журнал? Журналы нужны были, когда не было книг. Сейчас книги есть любые, значит литературные журналы не нужны. Где еще, кроме России, они существуют? Во Франции, во всяком случае, нет ни одного.

— На русском?

— На французском. И в Германии нет. А знаете, — неожиданно говорит МВ, — давайте продолжим наш разговор на улице. Как у вас со временем?

— У меня есть полтора-два часа. Потом у меня встреча в газете и на телевидении. А к пяти к Генису...

— Жаль, что вы заняты. А то подвезли бы нас с Катей в Гринвич Виллидж.

Я пропускаю предложение Розановой мимо ушей. Главное перехватить темп.

— Так что вы все-таки думаете о журнале?

— 40% прозы... Да где же вы ее собираетесь искать?!

— Но — “Знамя”, “Иностранка”... Они же...

— “Иностранка” — особый случай. А “Знамя” и выживает еле-еле... Только последнее время — чуть-чуть легче стало, да и то, когда начали печатать публицистику и “круглые столы”.

— Как вы выживали с “Синтаксисом”? Он вас кормил?

— Мы его кормили. Он существовал на зарплату Синявского. Первые шесть номеров я отпечатала в типографии. А потом мы все посчитали и купили маленький типографский станок. В пол-листа.

— Что за станок?

— “Давидсон”. Мы его звали Давидкой.

— Он стоял в подвале?

— Почему? В самой красивой нашей комнате. Шуму от него было столько, что в конце концов я не выдержала и по-

строила веранду. На ней он и жил. А в подвале стояли фото-станок, резак и фальцовочная машина.

— Каким тиражом выходил “Синтаксис”?

— Тысяча экземпляров.

— Вы получали гранты?

— Только в самом конце, после многих лет издания. Мы получили грант от фонда “Демостасу”. Он нам помог начать выпускать журнал четыре раза в год.

— То есть вы получали деньги только от подписки?

— Вначале да. Потом у меня появились постоянные заказчики на Давидку. Я печатала ежемесячный религиозный журнал.

— Вы говорите “я”. Это в прямом или в переносном смысле?

— Я осваивала все сама и сама все умела, но у меня было несколько человек, которые помогали, — в общей сложности на две зарплаты. А вообще у меня много специальностей.

— Каких?

— По образованию я — историк искусства. По работе в разное время — редактор, портниха и ювелир... А еще — архитектор, печатник, поломойка и художник-реставратор...

Мы спускаемся вниз по винтовой лестнице во дворик. Дворик — утрированный питерский, бродский “колодец двора”: с двух сторон, на расстоянии четырех метров друг от друга, двадцати-, наверное, этажные дома. Окна упираются в кирпичную стену. Тоскливо. Солнце сюда, практически, не попадает. Только на стене дома напротив, совсем уже на крыше, по углам растут два куста роз — красный и белый. Со дна они смотрятся совершенно сказочно. Почти так же, как рабочие-поляки, которые свесились с нашей крыши, пытаюсь рассмотреть, что мы с МВ делаем. (“Цо пани малюет?”) Это уже к моменту, когда МВ, лихо взобралась на лестницу, приклеила вырезанную из оберточной бумаги птицу сказочной породы к кирпичу жвачкой и начала обводить контур черным маркером. Что за птица? Зачем она здесь, на стене нью-йоркского небоскреба? Бред какой-то, сюр...

— Красиво, — говорит Розанова. — Вам нравится?

— Очень, — отвечаю я уверенным голосом. — А вам?

— Конечно. Вид из окна сразу оживает.

В работе меня о основном используют для баланса (или балласта?) — лестница под МВ постанывает и выглядит хлипковато. Мне ее постоянно приходится поддерживать. По этой ли причине или по какой другой, но я МВ явно непротивен. Мы с ней перешучиваемся и даже слегка подкалываем друг друга. Говорю о ней в третьем лице и называю Розанова. Чем-то она напоминает постаревшую Толстую.

— По вашему “конеШно” сразу чувствуется, что вы — москвичка. Ленинградка бы говорила “конеЧно”. Но даже и москвичи так подчеркнут “ш” произносят нечасто.

— Мне однажды точно сказали, откуда мои корни.

— ?...

— Я уже к тому времени была самой богатой женщиной Москвы. Ездила только на такси. Однажды, я торопилась, остановила такси, в котором впереди сидел мужчина (обычно я садилась вперед, да и вообще садиться в такси с пассажирами не любила). Он начал приставать ко мне с какими-то разговорами. Я его довольно резко — ну, не так чтобы совсем — послала. А он не отстает. Все время говорит какие-то глупости. Я его еще раз отшиваю. И тут он вдруг предлагает: “А не могли бы вы еще немного поговорить, я скажу, откуда вы родом, и откуда ваши предки”. Мне стало



интересно, я согласилась. Он послушал и сказал: москвичка, родом из западных областей, может быть из Полоцка, но в семье была и какая-то питерская линия... Я была потрясена. Мое детство прошло в Витебске. И все остальное тоже было угадано совершенно точно.

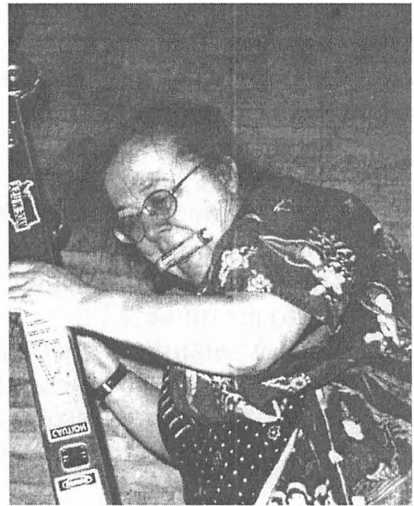
— Русский “Пигмалион”... У меня отец тоже из Витебска. Вы вполне могли с ним встречаться. Сколько лет вы прожили в Витебске?

— Десять с половиной. До начала войны.

— А что значит фраза “я была самой богатой женщиной Москвы”?

— То, что я ею была. Мы с Синявским не бедствовали. Но однажды утром я ему сказала: “Мы за завтраком разменяли последнюю десятку. Хорошо бы одолжить денег до получки”. С этим моим напутствием Синявский ушел на лекцию. Но на лекцию в тот день он так и не попал: его арестовали по дороге. Я осталась одна с восьмимесячным ребенком и без денег. Так вот, через два с половиной года я стала самым модным ювелиром Москвы.

Мы продолжаем разговаривать, но ролями поменялись. Я стою на верхушке лестницы и обвожу верхнюю часть птицы, до которой МВ физически дотянуться не может. (Катя, ... вашу мать, вы можете оторваться от своего телефона.



Нам нужна ваша помощь!) Катя и впрямь разговаривает по телефону часами. С момента, как я пришел, она почти и не отрывалась от аппарата. А нужна она нам затем, чтобы сфотографировать нас за работой. МВ поначалу категорически отказывалась фотографироваться — “не в форме, в Катинном халате, непричесанна...”.

— Ну и что? — нахально спрашиваю я. — Зачем вам?

Кажется МВ не сразу находится, как отбрить нахала.

— Какая ни на есть, но я все-таки дама...

— Вы из той породы женщин, которые могут себе позволить выглядеть естественно и не следить за собой.

Так вот, в какой-то момент она совершенно перестает возражать против фотоаппарата. Наоборот, перед снимком еле заметно подбирается и не то чтобы позирует — этого нет, но что-то с лицом происходит. Самый уголок глаза следит за объективом. Вполне возможно, что происходит это рефлекторно и незаметно для самой его хозяйки.

— Ну вот получится снимок, как редактор ... Как ваш журнал называется?

— “Котрапункт”...

— ... редактор “Контрапункта” заглядывает под юбку редактору “Синтаксиса”.

Я и вправду стою так, что не заглядывать практически невозможно. В результате встречи у меня остаются четыре отснятые пленки. Можно делать комикс. Я предлагаю МВ написать эссе на преверовскую тему “Как я рисовал птицу”. Она отказывается, говорит, что недавно вернула аванс в 5000 долларов российскому издателю...

— Зачем?

— Хочу быть свободной от кого бы то ни было. Чтобы иметь возможность послать на ..., не стесняясь.

— Как отреагировал издатель?

— Он меня очень полюбил после этого.

— А что вы пишете?

— Воспоминания. “Абрам да Марья” будут называться. Я давно уже пишу и все никак не кончу. Надо успеть. Это о Синявском, обо мне, о сыне...

— Сколько лет Вашему сыну?

— 34.

– Чем он занимается?

– Он экономист. Консультирует разные компании, как следует вести бизнес во Франции.

– Французские?

– И их тоже. Но больше иностранные.

– Русские есть?

– Он не такой идиот, чтобы связываться с русскими. В основном, американцев. Например, Микрософт.

МВ произносит Microsoft по-русски. Я уже отвык от такого звучания названия фирмы, хотя еще два года назад сам произносил его таким же образом.

– Он по образу мышления француз?

– Да, несомненно.

– Вы не жалеете об этом?

– Нет, пожалуй. В нем много для меня неожиданного.

Например, он не так давно начал писать.

– Писать? Что?

– Он написал два отличных романа.

– По-французски?

– Да.

– А вы легко читаете по-французски?

– Вообще не читаю.

– Откуда же вы знаете, что они отличные?

– Так говорят те, кому я доверяю.

– Он – Синявский?

– Нет, в литературе он – Гран. Егор Гран. Он все сделал очень разумно. Рано понял, что нельзя ни на кого работать, надо только на самого себя. Создал фирму. Заработал деньги и сейчас может себе позволить писать.

– Вы часто бываете в России?

– Два раза в год.

– Когда следующий раз?

– В конце сентября и пробуду там октябрь. У Синявского 8 октября день рождения. Собираются друзья. Их в России все же побольше будет, чем во Франции. В эмиграции мы всегда были отщепенцами, а в Москве чувствовали себя любимчиками.

– Какие у вас ощущения от России?

– Те же, что и в 1991 году. Она пришла туда, куда долж-

на была прийти.

— Она пришла туда, куда ее привели.

— После того, как они развалили Союз, было все ясно. Горбачев должен был отдать приказ немедленно арестовать Ельцина после подписания Беловежских соглашений.

В этот момент я, кажется, впервые замечаю, что беседую с женщиной, которая вот-вот перевалит черту, отделяющую пожилого человека от старого. Плюс к этому, еще и наделенной всеми чертами эмигрантской психологии: черное — черное, белое — белое, шаг в сторону, ну и т.д.

— Я так не думаю. Мне приходится постоянно спорить по этому поводу с Коржавиным. Он тоже, как и вы, — империалист.

— Коржавин — милый, но глупый. А вы в России бываете?

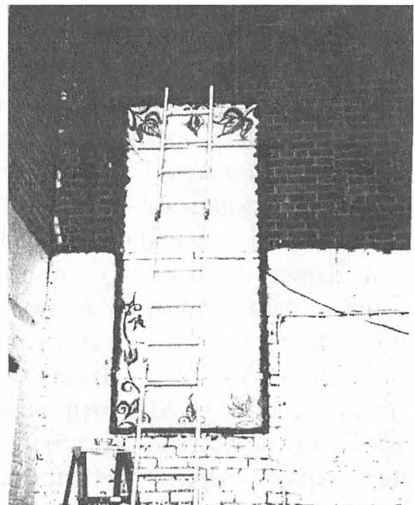
— Нет. У меня еще нет грин-карты. Но собираюсь в августе.

— Приезжайте во Францию. Вы можете в любой момент остановиться у меня. У нас очень большой дом.

Две птицы нарисованы на стене против окон. Они застыли на взлете, словно их спугнул невидимый охотник. У первой МВ слегка запоролла правое крыло — то ли краска была слишком густой, то ли не подумала, что воздух, прозрачность в крыльях будут смотреться лучше, чем сплош-



ной слой краски на кирпиче. Зато вторая удалась. Мы переходим к жутковатой металлической двери. Ее основание расположено на уровне метров двух с половиной, и сама она примерно такой же высоты. Дверь ржавая, и покрашена в гнусный желтый цвет. МВ влезает на собранную мной новую шестиметровую лестницу. Она медленно поднимается по ступенькам (“У меня есть одна особенность — я совершенно не боюсь высоты”). Забирается метра на четыре — четыре с половиной и пытается оттуда достать кистью до оставленного на картонном ящике блюдца с краской. Ничего, естественно, не выходит. Я едва успеваю поддержать раскачивающуюся, готовую упасть лестницу, после чего расставляю вторую — поменьше, взбираюсь на самую ее верхушку и держу блюдце. МВ шваброй красит дверь. Точнее, подкрашивает — на грязно-желтом остаются редкие мазки грязно-розового. Странно, но результат мне вполне нравится. Вокруг двери МВ сочиняет черно-белую раму. Черно-белой она становится потому, что черная краска не растворяется в белой и ложится на метал крупинками. Результат напоминает по фактуре чугун. МВ это вполне устраивает. Из углов вырастают диковинные цветы того же металлического цвета. Напоминают они пиковые карты разного достоинства. Пока мы красим, начинает быстро смер-



каться. Когда раз в час я выбегаю на улицу питать “квотерами митер”, я убеждаюсь, что солнце еще высоко, но дворик настолько узок, что свет туда проникает всего на несколько часов. Время — около четырех. Мне давно пора ехать, а я никак не начну разговор о рукописях Синявского. Зачем-то спрашиваю, как они с Синявским познакомились с Черновым. МВ так же, как я, называет многих (тех, кому симпатизирует, вероятно) по фамилии. Например, ни Чернова, ни Гениса по имени ни разу не назвала.

Вместо ответа Розанова говорит, что ей нравятся люди, которые сначала сообщают, что у них куча встреч и есть всего два часа, потом проводят четыре с лишним и при этом никуда не торопятся. А еще приезжают по совершенно корыстному поводу, а сами бескорыстно красят чужой забор. Я смеюсь. Она тоже.

— Я торопился потому, что представлял вас совершенно иначе. А до корыстного повода мы еще доберемся — я своей корысти и не отрицаю.

— Иначе представляли? Откуда?

— От друзей.

— И что друзья?

— Звучало это по-разному, но примерно так: “Марья совершенно неуправляема, непредсказуема и заставляет всех работать на себя”.

— Дураки. — И после паузы: — Ну, еще неуправляема, может быть. Но остальное...

Взглянув на кисть в своих руках, я был не совсем уверен, такие ли уж мои друзья дураки*.

Часы показывают, что через самое большое четверть часа я должен уезжать. Газета и телевидение сгорели синим пламенем в розовом огне. (Никогда не замечал, что Синявский и Розанова — цветовая пара. Подсказала Мария Игнатьева. См. Контрапункт №2). Говорю, что мне пора собираться, и спрашиваю славистку Катю, не хочет ли она напоить меня чаем перед уходом. Розанова добавляет, что и покормить бы рабочих не мешало. Мы моем руки и поднимаемся в кухню на второй этаж. МВ отправляет Катю в магазин за мягким хлебом (“не люблю все эти французские батоны, где нет ничего, кроме корки”). И раскладывает передо мной несколь-

ко сортов ветчины. Я говорю, что не ем мяса.

— С чего это?

— А как-то само собой получилось. Постился в этом году, а после поста почему-то не захотелось начинать...

— Вы? Постились? По какому это такому поводу?

— Собственно, больше без повода, чем по поводу. За компанию...

— Я неофитов не люблю.

— Меня к неофитам отнести трудно. Потому что с церковью у меня отношения сложные...

Разговор на мгновение замирает. Я нарушаю молчание неожиданно для самого себя вопросом о рукописях Синявского.

— Нет, — глядя прямо мне в глаза, говорит Розанова.

— Почему?

— Потому, что у меня свой журнал. И он наконец станет тем, чем задумывался — журналом одного автора.

— Но вашему журналу будет не под силу переварить архив Синявского. Насколько я знаю, он очень большой.

— Я буду издавать книги.

И второй раз за пять часов наступает пауза в нашей беседе. На сей раз ее прерывает Розанова.

— Вы же не сомневаетесь, что я к вам испытываю глубокую симпатию? И все-таки — нет. Я не хочу, чтобы его архив расползлся по разным изданиям. А вообще, “если всем давать...”, помните, что будет?

— Поломается кровать, — невесело добавляю я.

— У нас говорили иначе: не успеешь скидывать.

— Ну, суть-то одна...

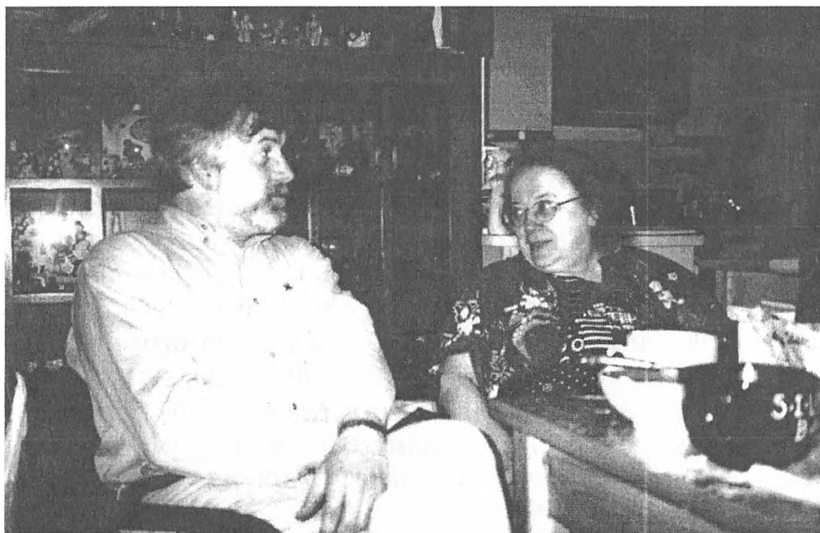
Я пытаюсь сохранить мину, но, видимо, как-то тускнею. Это чувствуется и МВ, и мне самому. Очень вовремя приходит Катя с мягким хлебом. Я начинаю собираться. Складываю какие-то бумаги, кладу в портфель номер “Синтаксиса”, выпущенного на смерть Синявского с автографом МВ: “Цыган — цыганке говорит... В смысле — редактор редактору”. Там же, в углу, Розанова нарисовала цветок. Точно такой же, как остался на металлической двери, на высоте четырех с половиной метров. С двух сторон от него инициалы М.Р. и дата — 30.04.99

Напоследок прошу Катю снять меня с Розановой (мало мы наснимались!). Прощаясь, целую МВ руку.

Уже уйдя от МВ и еще раз взглянув на надпись на дареном номере “Синтаксиса”, я вдруг понимаю: так же, как “если каждому давать...”, автограф имеет продолжение, хвост которого тянется прямым в детство. Почему-то после расшифровки я уже не так уверен, что понравился Розановой.

На ветровом стекле машины краснеет видный издалека “тикет” — штраф за нарушение при парковке. Раскрываю бумажку. Беседа с МВ мне стоила \$55 штрафа + \$5 за стоянку на “митере”: по двенадцать долларов за каждый час. В принципе, даром.

** Читая материал перед публикацией, МВ возмущалась неоднократно, а в этом месте и вовсе не выдержала: вначале высказала свое мнение обо мне и моих друзьях в доступной форме по телефону, а потом, по моей просьбе, прислала то же самое по факсу. Я не удержался и поместил записку МВ эпиграфом к этой нашей встрече.*



ЧТО КАСАЕТСЯ СМЕРТИ...

Вадим Пугач

* * *

Небесшабашно, но бесштанно
Все проживу и перелгу:
Вот перегнивший плод каштана
Едва виднеется в снегу;
Вот слепнувший зрачок трамвая
Среди белесоватой мглы
И дуг безумная кривая,
Сведенных, точно две скулы;
Картина, схваченная в целом,
Кино на влажном полотне,
И листья тополя на белом —
Почти как Жуков на коне.
Свернутся в трубочку детали,
Пожухнут, обратятся в слизь;
Еще вчера они витали,
В набрякшем воздухе вились,
А нынче... И куда ни глянешь —
Пустоты, прочерки, прогал,
И до смерти блестящий глянец
Все пережил и перелгал.

* * *

Четвертую тетрадку умараю,
Однажды запульсирую скорей,
И вот оно, — допустим, умираю
Среди плаксивых баб и врачей.
Движенья неуверенны и слабы,
Еще потрепыхался и задрых.

Перемешались лекаря и бабы.
Я их любил. Особенно вторых.
И тут бы, сквозь оплавленные лица
Взмывая в стилистическую высь,
Рассчитанной истерикой залиться,
Полувлюбленным клеточком зайтись.
Я их любил, — прислушаться: посуда
Уже звенит на вираже крутом, —
И умереть. И жить еще, покуда
Я их люблю. И дальше. И потом.

* * *

Человек становится матерей,
Трудится, как Ленин, над собой.
Впереди маячит крематорий,
Хвостиком виляя над трубой.
Часто представляю, как безбурно,
Не рождая паники в мирах,
Легкая пластмассовая урна
Обнимает безымянный прах.
И стена, ячеистая, в порах,
Сдержит вечность в сумерках тенет,
Если прах, переходящий в порох,
От случайной искры не рванет.

* * *

Еще гола растерянная крона,
Еще не кончен перечень обид,
Еще зима, и на снегу ворона
Расклеванного голубя долбит.
К нему еще не кормленные птицы
Побежку деловитую стремят.
А он лежит, раздолбанный, безлицый,
Автомобильной шиною примят.

Еще вчера он был нахальным, юным
И даже гадил на твоё пальто.
Мы подойдем. Быть может, тоже клюнем.
Но плюнем. Не понравится. Не то.

* * *

Памяти А. Ильичева

Отгалкиваясь от перил,
От их сквозящей жути,
Болтался в ляжках и парил
Весь мир на парашюте.
Чёрно поблескивал агат,
И, обнажив колено,
Садилась в воду на шпагат
Дразнящая Селена.
Ты знал, что истина проста,
И проще и жесточе,
Чем тот, кто падает с моста
В уют и ужас ночи.

* * *

В этой квартире часы не идут,
Будто поймав на движенье коротком
Липкие стрелки, которые тут
Бегают только по дамским колготкам.
Здесь никогда ничего не вернут,
Здесь бесполезны пророк и оракул.
Даже наткнувшись на пару минут —
Двух обаятельных маленьких дракул, —
Жди — не дождешься. Души не трави,
Слушая их демонический гогот;
Дело не в том, что растут на крови,
Просто в часах отразиться не могут.

Думаешь, вот — не бегут, не летят,
Значит, и все каменеет, немеет?
Просто по кругу они не хотят,
А по-другому никто не умеет.
Просто глаголов моих реквизит
Не составляет системы единой.
Может быть, век не идет, а висит
Прямо на стрелках пустой паутиной.
Может, глаголы иные в ходу?
Или же, как неудачник и олух,
Я не найду их? А я их найду.
Мы еще спляшем на этих глаголах.

* * *

Преодолев дурную мутотень
Усильным, постоянным напряженьем,
Я раз и навсегда отбросил тень
И стал ее рабом и отраженьем.
Она была тогда еще мала.
Шла жизнь, бездарная и молодая,
И тень меня хранила, как могла,
То расходясь со мной, то совпадая.
Не я пугался страсти и стыда,
Взмывал на стены, крыльев не приделав;
Мне тень не позволяла никогда
Выплескиваться из ее пределов.
Мне хорошо. Душа не голодна.
Все было так, что лучше и не надо.
Спасибо, тень. Ты и теперь одна
Меня удерживаешь от распада.

* * *

Рябина с лицом безразличным
Стоит, как святой Себастьян.

Такого покоя достичь нам
Мешает душевный изъян.
Все так же мы пыхаем резво,
До самых краев налиты,
Все так же вскипаем, как джезва
В законных пределах плиты.
И если по жилам кофейным
Потянет иная струя,
И если запахнет портвейном,
То знайте, что это не я.
Не я, не другой и не третий
Недельной щетиной оброс.
Рябина не спросит — ответь ей
Ничем на ее невопрос.
Послушай, какого же ляда
Я так не умею пока:
Погасшая дырка от взгляда
И узкая зелень белка?

* * *

Что касается смерти, то дышим ровней.
Эта тема иных не главней.
Если мы пожелаем достать до корней,
То зароемся в землю, а в ней
Все касается смерти, за что ни возьмись,
И клубится, почти не таясь,
Рокового распада вульгарная слизь,
Пронизая сквозистую вязь,
Что касается зелени трупных огней
И едва прорастает гнилье.
Что касается смерти, то хватит о ней,
Точно так же, как хватит ее.

ДРУГ МОЙ, ДРУЖОЧЕК

Роман. Журнальный вариант.

Лиля Поленова

"But if I die, I leave my love alone..."

Шекспир. 66 сонет

Погода в день похорон была отвратительной — какой она обычно и бывает в Нью-Йорке в ноябре. Не зима и не осень, сырость, забирающаяся под одежду, порывистый ветер с моря, изморозь, называемая по-английски "drizzle". Расползающийся в лужах мусор, потерявший свою разноцветность, Брайтон-Бич — посеревший, намокший, без суетящейся разноязыкой толпы, безликий, провинциальный. Кричащие русско-английские вывески, составляющие специфический брайтонский колорит, тоже поблекли под дождем. Ароматы еды — жареных пирожков, борща и кислой капусты исчезли, их поглотил запах гниющих водорослей. Брайтон превратился в обычную бруклинскую улицу, неотличимую от "McDonald" или "86 street", только нелепый мраморный фасад ресторана "Националь" торчит среди двухэтажного уныния, как мавзолей. Безобразная громада сабвея, нависшая над улицей, перекрывает небо, но не спасает от дождя, крупные капли летят с почерневших гнилых досок платформы, скапливаются на зазубринах металлических опор, выкрашенных серо-салатовой краской, и стекают за воротник, когда внезапный порыв ветра выворачивает наизнанку хрупкий дешевый зонт.

Все промокли на кладбище, устали от бестолковой езды — сначала в церковь где-то на Пенсильвания-Авеню, потом за город, через пробки, по разбитым и вечно ремонтируемым нью-йоркским дорогам, потом обратно в Бруклин — и, войдя в тепло ресторана, выпив по первой рюмке водки, — за упокой — стали понемногу расслабляться. Набрасывать на еду стеснялись, поэтому, быстро закусив, закурили,

налили по второй. Нужно было что-то говорить, но говорить никому не хотелось. На стене висели увеличенные фотографии — два веселых и молодых лица.

Только что похоронили мою невестку — младшую сестру моего мужа — и ее жениха, любовника, сожителя — здесь эти понятия укладываются в слово “boyfriend”. Ей было тридцать три, ему двадцать пять. Три дня назад они разбились на машине недалеко от Нью-Йорка. На Ленку нашел один из ее приступов христианского покаяния, и она потащила Яна в Ново-Дивеево. Это чудом сохранившийся русский монастырь. Там дьякон говорит густым басом и окает, старушки-монахини в белых платочках неслышно передвигаются по церкви, а прихожане — в большинстве своем крещеные евреи из третьей волны эмиграции — почтительно внимают службе, старательно и не очень умело крестятся и часто выходят покурить на церковный двор. Старенькую машину занесло на скользкой дороге. За рулем был Ян.

Последние месяцы Ленкиной жизни были какими-то мутными. Вся ее жизнь была мутной и нелепой. Мы всегда ждали неприятностей, но ведь не таких же!

Я не любила Ленку. Она почему-то требовала, чтобы ее называли Еленой, что все и делали. Мне это казалось претенциозным, фальшивым. Для меня она всегда была Ленкой. Я не одобряла ее образ жизни, вечно ссорилась из-за нее с мужем. Андрей с сестрой был очень близок. Он всегда помогал ей, баловал, оплачивал ее долги. Ленка оставалась для него ребенком — милым, непослушным и нуждающимся в опеке. Сейчас меня грызет чувство вины. В моей нелюбви, рациональной и справедливой, всегда присутствовала зависть. Я — человек педантичный и, наверно, тяжелый. Ленка была легкой, обаятельной и непутевой. Ее все любили, ей удавалось все, чего хотелось, — и ей никогда не хотелось ничего разумного. Ленка умела кокетничать, широко распахивать глаза, неожиданно лукаво улыбаться, внезапно впадать в грусть. Она замечательно слушала, знала, когда возразить, а когда согласиться, чтобы дать мужчине почувствовать превосходство. Женщины не интересовали Ленку, а все мужчины должны были быть в нее хотя бы слегка влюблены. Я видела пошловатость ее приемов, сочувствова-

ла ее жертвам и завидовала, завидовала, как может завидовать женщина некрасивая, закомплексованная, никогда не испытывавшая ощущения легкого романтического увлечения, не бывшая объектом страстной влюбленности, живущая добропорядочно и скучно. Я люблю Андрея, он любит меня, у нас двое замечательных детей. Я глажу ему рубашки и по утрам укладываю ленч в прозрачную пластиковую коробочку – бутерброд, салат, “low-fat, low-cholesterol“, меня не тянет постоять на краю пропасти, пройтись по лезвию – но... Иногда, глядя на мужа, я думаю: напился бы ты, что ли. Я всегда стыжусь этих чувств.

В большом банкетном зале буквой “П” поставлены столы, за которыми в тягостном молчании сидят человек пятьдесят. Друзья, родственники, молодые и старые. За усталостью и подавленностью трудно отличить искреннее горе от тяжелой повинности. Костюмы, белые рубашки, галстуки, темные платья сливаются, как будто на крахмальной скатерти среди еды и посуды разлеглась огромная черно-серая змея. Я гляжу на мужа. За последние дни он похудел и как-то почернел. У них с Ленкой одинаковые сине-серые глаза, каштановые волосы и тонкие черты лица, но на этом сходство кончается. Андриюшины запавшие щеки придают ему изможденный вид, залысины делают лоб непропорционально высоким. Он слегка косит. Ленка утверждала, что Андрей похож на Гумилева, она любила литературные сравнения. Мне всегда виделась в муже какая-то беззащитность. Сейчас горе делает его жалким до комка в горле.

– Андриюша, ты бы съел что-нибудь!

– А?

Муж поднимает на меня пустые глаза. Он сидит ссутулившись и протирает салфеткой очки. Мой голос на мгновение возвращает его к реальности, он надевает очки, тянется за бутылкой, наливает рюмку и снова застывает.

Александра Павловна, моя свекровь, сидит напротив. Вообще-то она очень красивая и монументальная женщина. Ей за шестьдесят, но возраст и седина только придают ее облику завершенность – этакая пожилая Снежная Королева, воплощение холодности, образец хороших манер. Впервые я увидела ее во время церемонии нашего официально-

го знакомства. Я робела, старательно и подробно отвечала на ее вопросы, пока не заметила, что мои ответы ее не интересуют, она задает вопрос, делает вежливую паузу и задает следующий. Я совсем смешалась, покраснела и неловким движением опрокинула рюмку с красным вином себе на платье. Александра Павловна не кинулась хлопотать, посыпать солью или хотя бы сочувствовать. Она великодушно не заметила моего позора. Я сидела в любимом, безнадежно загубленном платье, с горящими щеками и с трудом сдерживала слезы. С тех пор я являлась на семейные сборы только вместе с Ленкой и тихонько радовалась, когда она взрывала чопорную обстановку какой-нибудь неожиданной выходкой. Сейчас Александра Павловна сидит с бессмысленно сосредоточенным выражением постаревшего, сразу опавшего лица. Владимир Николаевич, отчим Андрея и Ленки, гладит ее по плечу. Я прислушиваюсь:

— Володя, а цветы?

— Сашенька, не волнуйся, Сашенька.

За долгие годы нашего знакомства эту фразу я слышала чаще всего.

— Володя, а деньги? Ведь надо...

— Сашенька, не волнуйся, Сашенька...

Отец Ленки и Андрея стоит у окна, постукивая по стеклу длинными пальцами. Его лица не видно. У Андрюши его фигура, он такой же длинный и тощий, и нервную манеру двигаться, играть пальцами, потирать лицо он тоже унаследовал от отца.

Алимов, бывший Ленкин муж, уже пьян. Ленка когда-то находила его красивым, но сейчас за отекающей и морщинистой маской алкоголика трудно разглядеть былое обаяние. Я вспоминаю смышенное личико Васьки, их сына. Васька проводил с нами много времени, маме недосуг было им заниматься, а от Алимова мало толку. У меня не хватило духу сказать Ваське, что мама умерла. Это еще придется сделать, но не сейчас. Не сейчас. Васька привык к маминому отсутствию, но каждый день трепетно ждет ее. Как объяснить пятилетнему ребенку, что такое смерть? Я сказала, что мама уехала в Россию. Мне казалось, что Ленка не особенно привязана к Ваське, хотя как можно было не любить этого мальчика?

Васька хорошенький, кареглазый, его щеки не до конца потеряли младенческую пухлость, он рассудителен до занудства и часто печален. От души хохочет он, только играя с Андреем. И опять неприязнь к Ленке пересиливает чувство вины и потери.

Незнакомый мне пожилой человек, наверно, родственник Яна, подымается говорить речь. Близких Яна я не знаю и просто скольжу взглядом по незнакомым лицам. Вон та маленькая похожая на подростка женщина — его мать. Она растеряно и жадно ловит слова — ей хочется слушать о сыне.

Некоторое время я пытаюсь включиться в происходящее, но мысли уводят меня в прошлое. Я вижу нашу московскую кухню. За круглым столом напротив меня сидит Ленка, совсем еще молодая, и говорит, говорит...

Сколько ее рассказов я выслушала! Она ничего не придумывала, но приукрашивала и переписывала собственную жизнь. В ее историях случались удивительные совпадения, оправдывались предчувствия и сбывались сны. Ленка была откровенна со мной, как бывают откровенны с собакой или со шкафом, мое мнение ее не интересовало, но она нуждалась в слушателе. Обычно она сидела на кухне, свернувшись на стуле, поджав одну ногу под себя, курила и рассказывала:

— Понимаешь, Москва — город маленький...

Москва — город маленький. То есть, конечно, когда вам надо за один вечер побывать в трех местах, заскочить на минутку в Теплый Стан, смотаться в Орехово, и еще заглянуть в Свиблово по срочному делу, — тогда Москва город большой, даже слишком. Но встретить в Москве в компании совсем незнакомому человеку невозможно: или его мама и ваша в одной школе учились, или его жена с вашей подругой в детстве на каток ходили, или вы сами вместе водку пили, да, убей Бог, не вспомнить где.

Тем не менее, Елене удалось привести в дом человека, с которым у нее не было решительно никаких общих знакомых.

Августовским вечером 198* года Елена бесцельно брела по Тверскому бульвару и раздумывала о разных разностях.

Шум улицы Горького постепенно стихал за спиной, слева прожектора освещали мрачное здание нового МХАТа, справа уютно горели окна театра Пушкина. По бульвару лениво текла нарядная толпа. На белых скамейках уже начали появляться влюбленные пары. Сидели в обнимку, но целоваться стеснялись — ждали темноты. В меркнувшем свете все женщины казались красивыми.

У Елены на душе было муторно. Поводов для тоски и недовольства собой было предостаточно: кончалось лето, развалилась в очередной раз личная жизнь, а вместе с ней и планы на отпуск в Коктебеле, денег не было, сигарет осталось меньше полпачки, все знакомые куда-то разъехались, даже брат был на даче, а следовательно предстоял одинокий вечер. Одинокие же вечера обычно кончаются самоедством — жизнь как-то проходит суетливо и чадно, все пьянство да блядство, да и, оглядываясь, видим лишь руины, и, опять же, ни страны, ни погоста. К тому же мать позвонит и будет спрашивать драматическим голосом, почему Елена не едет в Коктебель, и что произошло с Сергеем, и почему Елена опять разрушает жизнь вместо того чтобы созидать — мать очень любит слова “созидать”, “катастрофа” и “бездуховность”. Елена даже застонала вслух, встряхнула головой и в отчаянии огляделась вокруг в поисках избавления. Ее внимание привлек нетрезвый человек, расслабленно сидящей на скамейке. Пьян он был изрядно, но на обычного алкоголика не похож. Одет в бело-синюю ковбойку и голубые джинсы, слишком крупный для представителя интеллигентной профессии, русые волосы, лицо добродушного и немного обиженного жизнью атлета. “Красив, но не моего романа”, — подумала Елена. Ей нравились худые, одухотворенные, изнеженные аристократы с нервными музыкальными пальцами. Вдруг незнакомец окликнул ее приятным низким голосом:

— Извините пожалуйста, у вас не найдется спичек?

Елена с удовольствием остановилась, нашла спички, прикурила сама и произнесла какую-то дежурную фразу. В таком настроении она была готова познакомиться с кем угодно. Елена доброжелательно отвечала на обычный пошлый вздор — прекрасный вечер, очаровательная девушка

и совершенно одна, не надо ли проводить. Потом ее случайный собеседник поинтересовался, любит ли она армянский коньяк. Коньяка у него, дескать, целая бутылка, а выпить ее негде и не с кем. Елена опешила, открыла рот для достойного ответа, но тут ей вновь представились все прелести одинокого вечера, и она неожиданно для самой себя пригласила его в гости.

Через минуту она и пьяный, но старавшийся идти ровно человек свернули с бульвара в подворотню и побрели по паутине переулков. В зябкой прохладе вечера, в усталой поблекшей зелени уже чувствовалась осень. Со стороны Южинского переулка тянуло запахом горячего хлеба. Лица прохожих — усталых женщин с авоськами, мужчин с “дипломатами”, топтунов, охраняющих правительственные дома, — казались Елене смутно знакомыми, как всегда, когда она приближалась к дому. Даже от темных, мрачных елей, окружавших “номенклатурный” дом из светлого кирпича, веяло покоем и безопасностью. Елена не нервничала и не боялась, но, слушая вялые, тривиальные комплименты, она уже раскаивалась в своем безрассудном порыве. Сбежать мешало чувство неловкости. Манеры ее спутника особой тревоги не вызывали, но глаза у него казались не то чтобы больными, но какими-то уж очень печальными, как у только что постриженного пуделя.

Дома произошло непредвиденное. Елена провела гостя в кухню, а сама пошла в ванную привести себя в порядок. Когда она вернулась, он крепко спал, уронив голову на стол. Обещанная бутылка коньяка стояла перед ним нераспечатанной.

Растолкать здорового пьяного мужика — задача непростая, но Елене все же удалось перетащить его в комнату и сгрузить на диван. Вернувшись в кухню и рассудив, что вечер с коньяком лучше вечера без коньяка, она вскрыла бутылку.

Вскоре позвонила мать, и, получив свою порцию родительской ласки, Елена почти забыла о человеке, храпящем на диване. Коньяк плавно делал свое дело, и вскоре Елена примирилась с действительностью и своей нескладной судьбой. В кухне было уютно, желтый круг настольной лам-

пы выхватывал из темноты кусок зеленой клетчатой скатерти, синюю круглую чашку с розой на боку, хрустальную рюмку, криво отрезанный лимон на блюде, надкусанную шоколадную конфету. Из полумрака матово отсвечивали белые дверцы кухонных шкафов. В квартире было темно и тихо. Слабый незнакомый храп, посапывание и постанывание не мешало, а наоборот? успокаивало. “Все-тки дышит, сучок”, — промурлыкала Елена, вспомнив песенку. Она уселась поудобнее на стуле, поджав под себя ноги, и попробовала было читать, но вскоре отвлеклась. Мысли перетекали, переливались одна в другую в коньячной истоме. Елена начала прозревать какую-то истину, которую никак не удавалось выразить словами. Она попыталась приблизиться к ней, выпив еще, но почувствовала, что ее начинает мутить, и на нетвердых ногах побрела спать.

Утром Елена проснулась рано, ее разбудили вороны, кружившиеся над старым громадным вязом в центре двора и оравшие дурными голосами. Признаки похмелья были налицо — головная боль, жажда, распухший сухой язык, непередаваемо омерзительный вкус во рту. “Удивительно неэстетичное состояние, — подумала Елена, — с кем это я вчера так?” Вспомнив нелепый вчерашний вечер, она охнула, вскочила, натянула на себя джинсы, вылетела в коридор и заглянула в соседнюю комнату. Ее гость спал на узком диване. Он лежал на спине и дышал открытым ртом, одна рука свешивалась на пол. Елена попятилась в коридор, стараясь не скрипеть половицами, и отправилась умываться, опохмеляться и варить кофе.

В кухне что-то изменилось. Коньячная бутылка была пустой, окурки в пепельнице чужие — без фильтра, огрызок конфеты исчез. Елена стояла у плиты и напряженно следила за кофе, стараясь поймать начало кипения и вовремя выключить газ.

— Здравствуйте! — услышала она за спиной хриплый и смущенный голос. — Мы, кажется, не познакомились вчера. Меня зовут Евгений.

— Елена, — ответила Елена, со всей возможной церемонностью протягивая руку. В это время кофе выкипел на плиту, и утренние кухонные ароматы сменились горелой

вонью.

Вот так Женя и появился в Елениной жизни, но странным было не это, а то, что у них совершенно не оказалось общих знакомых, ну буквально ни одного человека.

Я впервые попала к Андрею и познакомилась с Ленкой в начале лета, месяца за два до того, как она привела Женьку. Мы с Андреем работали вместе в “почтовом ящике”, спрятанном в высоком белом здании за железными глухими воротами, неподалеку от ВДНХ. Андрюша был моим зав. группой. Были мы прикладными программистами, занимались системами автоматического управления для большой химии. Что уж такого секретного было в наших программах — не знаю, но платили нам по тем временам прилично, зато сидеть приходилось от звонка до звонка, через проходную без увольнительной записки днем не пропускали. Лаборатория наша состояла в основном из ребят молодых, “длинноногих и политически грамотных”. Я в их компании ужасно стеснялась и чувствовала себя неудобно. Я не заканчивала элитарной школы, не училась в университете, никогда не каталась на горных лыжах, не ездила в походы и на КСП. К тому же я мнительна и застенчива, словом, не в масть. Андрей мне нравился — спокойный, доброжелательный и без бороды. Почему-то именно борода олицетворяла для меня тот самый тип интеллектуала-супермена, которого я так боюсь. Андрей — с его ровным мягким голосом и манерой вдруг снимать и протирать очки — был нестрашным. Все началось с легкой взаимной симпатии, невнятного запаха сирени, улыбок, намеков и взаимопонимания во время вечерних прогулок до метро, сначала в компании, от которой мы отгораживались своим разговором, а потом и вдвоем. Помню ночную Москву, блестящий после дождя асфальт, руку на моем плече, кинотеатр “Россия”, Пушкина с наклоненной головой, фонтан, кафе “Лира”, темные переулочки с желтыми пятнами светящихся окон, высокие тополя, детский грибок...

— Вот и мой дом. Зайдешь?

А утром на кухне, залитой солнцем, наполненной запахом свежесмолотого кофе, я и познакомилась с Ленкой. В тот день мне нравилось решительно все — и особенно Ленка, ми-

лая, улыбчивая, простая, такая же доброжелательная, как брат. Ленка стояла у плиты, растрепанная со сна, в синем длинном халате из какого-то бархатистого трикотажа — у меня никогда такого не было. Халат обрисовывал ее маленькую ладную фигуру, золотые кисти пояса свисали до колен. Она жарила оладьи на большой сковороде, обе руки были заняты — в одной лопатка для переворачивания, в другой сигарета. Падающие на глаза волосы она откидывала тыльной стороной ладони. Потом я много раз наблюдала, как Ленка делает кучу дел одновременно: курит, что-то готовит, говорит по телефону, прижав трубку ухом, и при этом одним глазом заглядывает в газету. Мне в этом виделись неумение сосредоточиться и неаккуратность. Как-то я сделала ей замечание такого рода, но в ответ она лишь пожала плечами: “Думаешь, если я буду внимательно курить, у меня скорее начнется рак?” — глупый и неостроумный ответ... Но все это случилось потом, а тогда я была очарована ее приветливостью, манерой говорить о себе с иронией, ее понимающим тоном, ее удивительной легкостью. Она как будто не заметила, что я провела ночь с Андреем, не видела моего смущения — болтала небрежно и ласково, перескакивая с темы на тему, словно со старой знакомой.

У Ленки и Андрея была небольшая трехкомнатная квартира на Малой Бронной. Район этот — очень старый, очень московский, столько раз описанный в литературе, что казалось невозможным жить именно там, “за поворотом Малой Бронной, где окно распахнуто на юг”, в двух шагах от Патриарших прудов, где “в час жаркого весеннего заката” происходила тысячу раз перечитанная чертовщина. Да и названия улиц вокруг были сплошь литературными или театральными: Алексея Толстого, Герцена, Качалова, Горького, Южинского, Пушкинская площадь. Посольства, правительственные дома, а рядом переполненные коммуналки. Дом, в котором жили Ленка с Андрюшей, не был правительственным, но и коммуналок в нем тоже не было. Когда-то он считался ведомственным, квартиры заселяли в тридцать третьем году. С тех пор сменилось поколение, а то и два, но жили в этих квартирах члены тех же семей. Набитая старой мебелью, переполненная книгами, квартира, в которую я

попала, была ужасно не похожа на мое стандартное современное жилище с низкими потолками, полированной стенкой и цветным телевизором. Брат с сестрой жили вдвоем уже несколько лет, с тех пор как их мать вышла замуж и переехала. Я в свои двадцать пять жила с мамой и папой, отчитывалась за каждый свой шаг и не могла убедить маму, что в мою комнату нельзя входить в любое время, что я сама могу вытереть пыль с моего письменного стола, что у меня может быть личная жизнь, личные письма, бумаги и книги, не предназначенные для родительского прочтения. Свобода казалась мне недостижимым идеалом, раем. Могло ли мне не понравиться на Малой Бронной?

Я сидела на кухне, пила кофе и ела очень вкусные оладьи — почему-то у Ленки оладьи всегда толстые, воздушные, золотисто-коричневые и тают во рту, я никогда не могла изобразить такие же. Я ела и слушала Ленкину болтовню. Что у нее за профессия, я так и не поняла. Работала Ленка в домемузее Горького, он находился по соседству, на улице Алексея Толстого, в необыкновенной красоты здании в стиле “модерн” — бывшем особняке Рябушинского. Пристроила ее туда мать, работавшая в издательстве и имевшая разнообразные литературно-филологические связи. Чем Ленка занималась на работе, она то ли не хотела, то ли затруднялась объяснить: “Буревестник революции. Матерый человечеще. Писатель, холера его задави. А я читателем работаю” — вот и все ее объяснение. Жизнь с Андреем Ленку полностью устраивала, он снабжал ее деньгами, а она в свою очередь стирала, иногда готовила и прибиралась. К своим двадцати трем годам Ленка так и не затруднилась получить какую-нибудь специальность, поучилась в гуманитарном вузе, да и сейчас числилась на заочном, так и не решив, покончить ей с высшим образованием навсегда или получить бесполезный диплом на радость маме. Мать переживала из-за Ленкиного легкомыслия, сердилась, что она не думает о будущем, не хочет учиться и в то же время не пытается как-то устроить свою жизнь. Под “устройством жизни” Александра Павловна понимала замужество, но Ленка замуж не торопилась.

У Ленки в комнате висела икона Богородицы, под ней

лампадка. Лампадка горела. Ленка рассказала мне, что она православная, крещена в детстве бабушкой. Иногда ночью она просыпается в непонятной тревоге, начинает думать, что живет как-то не так, жизнь проходит мимо, она никому не сделала добра — “учеников разбазарил, Паниковского не воскресил”, что если она умрет, то мир не изменится и даже не опечалится. Тогда она начинает креститься на икону, каяться и молиться, пока не достигает умиленно-слезливого состояния и не обещает себе и Богу начать другую, правильную и хорошую жизнь. Потом она обычно засыпает, утомленная и спокойная, а утром накатывают новые заботы и все забывается. Неправильная жизнь катится дальше, и смешно думать о смерти в двадцать три года. Да и о жизни тоже.

Я стала часто бывать на Малой Бронной. Я была влюблена, меня тянуло к Андрюше, и весь их стиль жизни был для меня новым и необычным. Собственно это была Ленкина жизнь, в которой Андрей участвовал постольку-поскольку. Ее бурный темперамент, общительность и стремление нравиться привели к тому, что она держала нечто вроде салона — почти ежедневные гости, шумные разговоры на кухне за полночь, все больше о высоком — спасение России, судьбы литературы, роль интеллигенции. Дым сигарет, вино и чай, флирты, романы, измены и сплетни. “Анна Павловна Шерер”, — фыркал Андрей. “Тоже мне князь Болконский”, — усмехалась Ленка в ответ. Разговоры на кухне казались мне поначалу беседой посвященных, речь была настолько пересыпана литературными ссылками, цитатами, именами, что я не все понимала. Позже я заметила, что цитаты и имена повторяются и что птичий язык — это способ отличать чужих от своих. Со временем я приспособилась к этому языку, но своей все же не стала.

Обширный круг Ленкиных приятелей состоял в основном из ее бывших любовников. Женщин она в компании терпела. К своим романам Ленка относилась легко, так что чаще всего мужчины, попавшие в орбиту ее жизни, в конце концов оседали на кухне в качестве друзей. Дом был открытый, приветливый и свободный, родители не мешали, а дружить Ленка умела. Любила она людей необычных, жела-

тельно принадлежащих к богеме. Был в ее компании фотограф, безвестный поэт, валютчик по кличке Патрик, был даже настоящий актер по имени Павлик. В свое время Павлик покорила Лену красивой внешностью, непередаваемым, чисто актерским умением рассказывать байки и обилием театральных знакомств. Все три месяца их романа Ленка ощущала себя принадлежащей к таинственному миру театра, ходила в ресторан ВТО и на самые модные московские спектакли, но вскоре почувствовала утомление. Павлик очень много пил, причем по-актерски, с дебошами. Ленка уже начала опасаться, что спивается тоже, но тут Павлик увлекся новенькой гримершей в театре. Дружба сохранилась, и иногда Павлик появлялся в доме в час ночи, пьяный и буйный, жаловался на женское коварство, изображал своих врагов, пел новые песни и наконец к пяти утра засыпал прямо на кухне.

Я редко сидела с гостями, обычно мы с Андреем приходили поздно. Мы любили гулять вдвоем по бульварам, иногда ходили в кино, иногда в какое-нибудь кафе. Когда мы возвращались, я убегала от компании в Андрюшину комнату — очень спокойную и уютную, с зелеными стенами и зеленым диваном. В их квартире все комнаты имели цвет: Ленкина — розовая, Андрюшина — зеленая, а гостиная бежево-коричневая. Толстые стены гасили звуки, голоса превращались в неразборчивое бормотание. Мне было хорошо.

За воскресным завтраком или в редкие вечера, когда не бывало гостей, Ленка с удовольствием рассказывала мне обо всем, что я пропустила.

Даже сейчас, через столько лет, я без усилия переношусь воображением в московское воскресное утро, в старый дом, на кухню с огромным окном. Чуть колышется легкая белая занавеска с желтыми цветами и солнечные пятна, как яичный желток, расшлепаны по светлым дверцам шкафов и зеленому в белых разводах полу. Стеклопанная кухонная дверь позвякивает от шагов — Андрей прошел в ванную. Ленка с чашкой чая, в своем царском синем халате, сидит за круглым столом. У нее над головой — израильский плакат. На плакате — забавная картинка, сценка из уличной жизни Иерусалима, вверху непонятная надпись на иврите. Такой

плакат висел во многих московских квартирах — его бесплатно раздавали в израильском павильоне на книжной выставке.

— Галка! Ты вот вчера опять спряталась у Андрюшки и ничего не видела...

Незнакомец Женя, так необычно объявившийся в доме, конечно, никуда не исчез, хотя позвонил Елене не сразу, а недели через две. Елена поначалу его не узнала. Приглушенный, низкий голос понравился Елене. Женя еще раз извинился за свое поведение при первой встрече и попросил разрешения еще раз увидеться. Елена немедленно пригласила его в гости. Он пришел в тот же вечер, довольно поздно, когда кухня была полна гостей. Елена пригляделась внимательнее. Русые, слегка выющиеся волосы, зеленые глаза, тяжелый подбородок, — заманчиво, но тривиально, как реклама сигарет “Marlboro” на глянцевого страничке западного журнала. Какая-то беззащитность, даже затравленность в выражении глаз не исчезла и у трезвого. “А супермен-то с червоточинкой”, — подумала Елена. Что бы там ни было, вел себя Женя по-светски, и проблемы свои и горести скрывал умело. Его появление заинтриговало всех — судя по особому вниманию, которое Елена оказывала незнакомому гостю, назревал новый роман и новые события. Однако общий разговор не прервался. Спорили о чем-то обычном — не то об эмиграции и о евреях, не то о перестройке, не то о литературе. Эпоха наступившей гласности дала обильную пищу кухонным разговорам. Зачитанный номер журнала “Наш современник” со второй половиной романа Василия Белова “Все впереди” валялся на кухне и заменял анекдоты. “Сексологи пошли по Руси, сексологи! — Андрюша зачитывал текст с интонациями диктора Левитана. — Кисточками ищут у женщин эрогенные зоны...” Все хохотали и изгалялись в остроумии. Женя смеялся вместе со всеми, но больше помалкивал. Елена не очень вникала в происходящее. Она разливала чай, резала шарлотку, которая в этот раз почему-то не получилась, косилась на Женю и чувствовала, что устала. В тот вечер ей вдруг надоели гости, трепотня, разъедающий глаза дым, куча грязной посуды в раковине, интеллектуальные рассуждения. Болела голова,

хотелось чтобы гости ушли, но с их уходом неотвратимо надвигалась уборка кухни. “Любви хочется, — с тоской подумала Елена, — пожалел бы кто-нибудь, уложил в постель, укрыл одеялом, чайку принес, посуду бы вымыл...” Женина внешность, видимо, наводила на лирические мысли такого рода. Он сам, между тем, особого внимания на Елену не обращал, не кокетничал, а внимательно следил за разговором.

Беседа исчерпалась и стала снижаться, переходя на личности.

— Простите, Женя, а чем вы занимаетесь? — наконец спросил кто-то.

— Я — дворник, — ответил Женя.

— Правда? А кроме этого? — Елена ожидала какого-нибудь романтического ответа. Профессия дворника была довольно обычной. Поэты, художники, музыканты, диссиденты, неконформисты всех мастей, непризнанные гении, конфликтующие с официальной идеологией, работали дворниками, истопниками, сторожами, вахтерами.

— Ничего. Я — дворник. Подметаю вокруг памятника Тимирязеву. Ну, я еще сантехником могу. Грузчиком. Маляром был, квартиры ремонтировал... А ты?

Воцарилась недоуменная тишина

— Я искусствовед, — сказала Елена, без твердости в голосе. “Врет... или нет? Тоже мне счастье — дворник”, — она была обескуражена. Андрей, не любивший неловких ситуаций, начал рассказывать про какой-то фильм, недавно получивший премию на Каннском фестивале. Фильма никто не видел, но все шумно поддержали разговор, слишком оживленно, чтобы это звучало естественно. Дворник Женя сидел как ни в чем не бывало, казалось, даже не заметив ни паузы, ни общего нарочитого оживления. “Врет, такими толстокожими даже дворники не бывают”.

К закрытию метро гости начали собираться. К тайной досаде Елены, Женя поднялся вместе со всеми. Прощаясь, он спросил разрешения прийти еще. Елена очень старалась принять равнодушный вид, и, кажется, ей это удалось.

Вскоре Женя стал своим человеком в гостеприимном и безалаберном доме, более того, он стал незаменимым. Материальный мир, весьма неприветливый с Андреем и Лен-

кой, покорялся Жене. Он умел все — починил вечно текущий кран на кухне, поставил Елене в комнату второй телефонный аппарат, сменил перегоревшие лампочки, смазал омерзительно скрипевшие дверные петли.

— Мастер Гриша, — ехидничал Андрей, цитируя Окуджаву, — немногословен, но надежен, как фонарный столб. А ты то выпендриваешься, то заискиваешь перед ним, как интеллигенция перед народом.

— Дурак, — грубила Ленка, — выродившийся отпрыск древней фамилии. Никчемный интеллеktуал с амбивалентным отношением к закону Ома. Год магнитофон починить не можешь.

— Да здравствуют дворники и сантехники, без амбивалентности и рефлексии!

Несмотря на язвительные замечания, Андрей, пожалуй, симпатизировал Женьке и иногда по вечерам играл с ним в шахматы.

Ленку, конечно, привлекали не Женины слесарно-столярные таланты. Просто ей никак не удавалось его завлечь. Да, он приходил часто, раза два-три в неделю, и скорее всего приходил именно из-за Ленки, но вел себя как старый приятель, фамильярно насмешливо и безразлично. Ленка старалась изо всех сил. Ее кокетство, и всегда-то не слишком скрытое, выглядело откровенно неприлично. Она садилась рядом с ним за столом, норовила прислониться или положить голову на плечо, первому подавала ему чашку или тарелку, помнила, сколько ложечек сахара он кладет в чай, бурно восхищалась всем, что он делал, смеялась над его шутками и бородатými анекдотами. Чем больше усилий она прилагала, тем насмешливей он на нее поглядывал. Ленка бесилась, строила планы, но он не давал никакого повода их реализовать. Да, он целовал ее при встрече и на прощание, мог приобнять за плечи, даже усадить на колени, когда все стулья на кухне бывали заняты. Когда они оставались наедине, он держался отстраненно и подчеркнуто дружески.

Через месяц ни о ком, кроме дворника с Тверского бульвара, она не могла ни думать, ни говорить. Сомневаюсь, что она была влюблена, но самолюбие для Ленки всегда было

важнее любых других чувств.

Приближался конец сентября, а вместе с ним и Ленкин день рождения. Суматоха, как всегда, началась задолго, примерно за неделю. Ленка говорила, что отмечать день рождения не будет, гостей не хочет и это вообще не праздник, но сама с тревогой наблюдала, кто вспомнит, кто позвонит и придет, искала повод напомнить всем о надвигающейся дате. Женя, как человек новый, был приглашен специально.

Я, как назло, прийти не могла: Ленкин день рождения совпал с семейным торжеством — тридцатилетием свадьбы моих родителей. Мне пришлось нести почетную вахту и в сотый раз слушать рассказы родственников об их задорной комсомольско-заводской юности, есть непременно салат оливье и пирог с капустой. Потом дядя, как обычно, напился, и начались тошнотворные рассуждения о Сталине и порядке — родня постарше сочувственно слушала, папа, слышавший в нашей семье либералом, горячился и спорил: ведь партия признала ошибки, да и Сталина в прессе открыто величали преступником. Папа выписывал журнал “Огонек”, и его политические убеждения за последнее время сильно поменялись. Он уже не считал Сахарова и Солженицына предателями, хотя еще сохранял веру в светлые социалистические идеалы. Реабилитация Бухарина, смелые экономические статьи, дерзкие рассказы Евтушенко о погибших или эмигрировавших, несправедливо забытых поэтах, пронзительные лагерные истории — весь поток неожиданной, новой информации растревожил болото, в котором дремала долгие годы моя семья, и породил жаркие споры и даже конфликты. Еще полгода назад я принимала участие в этих разговорах, но после общения с Андреем, Ленкой и их компанией мне было скучно и неловко. Господи, прожить так долго в этой стране, пережить войну, эвакуацию, бедность, двадцатый съезд — и открывать для себя мир заново по страницам “Огонька” и “Московских новостей”! Мои родители, вроде не совсем дикие люди (папа — начальник цеха на фармацевтическом заводе и мама — преподаватель в техникуме), умудрились не знать Галича, судить о Пастернаке по старым газетным публикациям, а о Булгакове по

“Дням Турбиных”. Евтушенко и Вознесенский олицетворяли для них современную поэзию, а писатели-деревенщики — прозу. Книг в доме почти не было, магнитофон мне купили уже в институте. Прочие мои родственники, кроме футбола, Аллы Пугачевой, журнала “Здоровье” и телевизионных фильмов, вообще ничем не интересовались, а из книг прочли разве что Пикюля и Дюма, которых выменивали на макулатуру. Я тосковала за праздничным столом и гадала, что сейчас творится на Малой Бронной.

День рождения отмечался, как обычно, тридцатого сентября, в “Веру, Надежду, Любовь”. С утра Андрей бегал по магазинам, закупаая продукты по заранее подготовленному списку. Елена варила картошку, резала салат, пекла какие-то специально выдуманные к торжественному случаю пирожки с сыром и болтала по телефону. Телефон звонил непрерывно, и она перетасила его на кухню, благословляя Женю за то, что он уступил ее настояниям и сделал длинный шнур. “Ронять будешь то и дело”. — предупредил он. “Ты починишь”, — беспечно отозвалась Елена. Женька неопределенно хмыкнул.

Среди живописного кухонного развала Елена чувствовала себя уютно, праздничное возбуждение заставляло крутиться быстрее и перескакивать с одного дела на другое. В центре стола возвышалось огромное блюдо с салатом, на приготовление которого ушло не меньше часа. Все свободные поверхности были заняты кастрюлями, мисками, свертками, так что все время приходилось что-нибудь разыскивать. На кухне пахло маринованным чесноком и киндзой — Андрею пришлось мотаться на Центральный рынок. Стулья и пол были обсыпаны мукой. Около шкафа шеренгой выстроились бутылки — сухое вино, коньяк, какой-то экзотический ликер сомнительного зеленого цвета, спирт, настоянный на лимонных корочках.

В промозглой осени Нью-Йорка московские воспоминания кажутся раскрашенным диафильмом, эпизодами без начала и конца. Кто знал тогда, что непрерывное, переливающееся, катящееся время вдруг остановится и завязнет, дни сольются и перестанут отличаться один от другого. На смену жизни придет нечто монотонно-благополучное, хо-

тя, если говорить о Ленке, в ее жизни не было ни минуты благополучия. Ее игрушечные и настоящие страдания обернутся пошлостью и тоской. В ее рассказах поблекнет цвет и исчезнет запах, а сюжеты перестанут даже претендовать на правдоподобие. В картинках той давней московской жизни, как на оживающей фотографии, она встряхивает головой, темные легкие волосы разлетаются и снова падают на глаза. Ленка выпрямляется, смотрит в окно на пожелтевший вяз в прозрачном осеннем небе, на серенькую стрелку шпиля на площади Восстания. Название какое странное — как из “Трех толстяков” — кто восставал, когда, зачем? Крики детей в большом дворе, холодное оконное стекло, облитое закатом, ампи́рный домик напротив. Ленка смотрит и привычно не замечает, возвращаясь к своим делам и суетным счастливым мыслям, не ведая, что счастье и беспечность на излете, да и всей жизни-то осталось лет десять, не больше.

Пока Ленка была жива, я думала, что эмиграция — это вторая жизнь, жизнь после смерти, а теперь эти слова звучат кощунственно и глупо. После смерти ничего нет, и Ленки нет нигде — ни в Америке, ни в Москве, есть только могила, превращающая Нью-Йорк из промежуточной станции бессмысленного нашего бега в конечную. Понятие отчего дома всегда было связано не только с колыбелью, но и могилой, так где же теперь наш дом?

Елена терла сыр для пирожков и задумалась о Жене. Забавно, она до сих пор не знает его фамилии — сам не говорит, спросить неудобно. За глаза все зовут его Дворником: “Дворник придет? Дворник мне говорил... “Кто же он такой? Елена знала о нем не больше, чем при первом знакомстве. Ему лет тридцать пять, он разведен, живет в Москве, где-то на Тверской-Ямской, он не слишком образован, но и не вполне темен, он мало похож на богему, но почему-то работает дворником, общих знакомых пока не нашлось, и вообще неизвестно ничего о его жизни за порогом Елениного дома. Он явно приходит к ним из-за Елены, но не делает ни одного шага к сближению. Черт бы побрал все эти сложные натуры — не силой же его в койку тащить!

Поток размышлений прервал звонок в дверь. Елена гля-

нула на часы и охнула — конечно, уже гости, а у нее ничего не готово, и сама она в домашних штанах и рваной под мышкой майке. И такая фигня каждый год! Шепотом выругавшись, Елена пошла открывать дверь и зацепила тапочком телефонный провод. Аппарат со звоном упал с табуретки на пол. Придется Женьке снова его чинить.

Пришедшие гости были сразу привлечены к делу. Мужчины раздвигали стол и ставили стулья, женщины расставляли тарелки и украшали салаты. Вскоре появился Женька с большим букетом красных роз. Одет он был нарядно — пушистый белый свитер с высоким горлом и новенькие темно-синие джинсы, выражение лица напряженно-торжественное. “Решился, кажется”, — подумала Елена. Он увидел разбитый телефон, насмешливо глянул на Елену, но в честь праздника не стал говорить “Я тебя предупреждал”, а занялся починкой.

Несмотря на общую суету и бедлам, минут через сорок удалось всех усадить и приступить к закускам. Раздвинутый стол, окруженный стульями и табуретками, перегородил всю большую комнату, зато теснота не давала гостям расползаться по квартире. Елена поставила пластинку. Негромко взвыл саксофон. “Summer time...” — захрипел Армстронг. Изголодавшиеся гости накинулись на еду и напитки, и некоторое время ничего, кроме музыки и позвякивания ножей и вилок, не было слышно. Потом задымились сигареты и начал возникать разговор. Народу было немного, человек пятнадцать, и застолье не успело распасться на отдельные группы. В то время вся интеллигентная Москва с напряжением следила за развернувшейся дискуссией историка Натана Эйдельмана и писателя-деревенщика Виктора Астафьева. Скандальчик начался с рассказа Астафьева о Грузии, в котором он каким-то образом обидел грузин. Собственно грузинские национальные чувства всех волновали мало, рассказа почти никто не читал, и история стала быстро затухать, как вдруг Эйдельман написал Астафьеву письмо. Эйдельман вступался за грузин, обличал национальную нетерпимость и намекал, что Астафьев антисемит. Астафьев отреагировал немедленно и грубо, с удовольствием признав за собой нелюбовь к евреям и обвинив их и, в частности, достойного историка или его

предков и родных в убийстве царской семьи. Евреи и грузины — большая разница, и скандал снова запылал. В переписку включились сочувствующие Астафьеву или Эйдельману, и заскучавший от перестроечных журнальных публикаций самиздат оживился.

Обсуждение за праздничным столом шло в привычном ключе — с пафосом хвалили Эйдельмана и его союзников, хаяли Астафьева и прочих патриотов. Елена за столом сидела мало, бегала на кухню следить за пирожками, возвращаясь, присаживалась, выпивала рюмку за свое здоровье. Гармония стола разрушалась, бутылки пустели, голоса становились громче, а разговор бессвязней. Праздник постепенно превращался в банальную пьянку. В пустой банке из-под шпрот уже красовался неизбежный бычок, руины салата и грязные тарелки выглядели неаппетитно, крахмальная скатерть заляпалась. Пора было переходить к кофе, сдвигать стол в угол, чтобы дать возможность гостям выбраться и походить по квартире. Елена вышла, поставила чайник и, вернувшись в комнату, присела на свой стул — ближайший к двери, чтобы удобно было бегать в кухню. Разговоры про Эйдельмана и Астафьева ей давно надоели, ситуация, по ее мнению, была ясная, чего тут огород городить. Книг Астафьева она никогда не читала, рассказ, из-за которого все началось, — тоже, проблемы гибнущей русской деревни ее совершенно не интересовали. Сколько можно об одном и том же! Вот теперь Сонька с придыханием хвалит Эйдельмана за мужественное выступление — дескать, грузины себя защитили, а все остальные позорно промолчали, и только он один... Елена перевела глаза на Сережу Куракина, сидевшего у стены. Он тоже явно скучал, манерно кривил губы, как всегда, когда его что-то раздражало. Куракин — красивый блондин, “белокурая бестия”, был ее последним любовником. Отношения с ним совершенно запутались еще до появления Дворника, и Еленино усиленное кокетство с Женькой было косвенной мстью. Ей очень хотелось показать этому аристократу и пижону, что она не очень-то к нему привязана. Подумаешь, князь он, видали мы таких князей! Может, он вовсе из куракинских холопов! Сергея все называли князем, кто насмешливо, а кто и с уважением.

Елена отвела взгляд, чтобы Сергей не заметил, что она его рассматривает, и вдруг он заговорил.

— Говно он и провокатор, Эйдельман ваш, а никакой не герой, — уголки губ у него еще сильнее поползли вниз.

— Почему это? — Сонька покраснела от возмущения. Она вообще легко краснела.

— А потому, — Сергей оперся локтем о стол. Двумя пальцами он небрежно держал сигарету. — Астафьев поссорился с грузинами, да и то, по-моему, на пустом месте. Нет в этом рассказе ничего антигрузинского. А Эйдельман полез к нему со своим письмом, спровоцировал на высказывания о евреях, а потом распространил частную переписку и, ничем не рискуя, выставил себя героем.

— Ерунда, никакая это не частная переписка! Астафьев позволил себе недопустимые антисемитские высказывания! — подал голос кто-то.

— Ну и что? Это его личное дело. Писатель он хороший и честный, получше Эйдельмана.

Мишка Резник, старинный Еленин приятель, программист и пьяница, с усилием поднял голову:

— Антисемитов не люблю, — произнес он с некоторым трудом, — ты, князь, тоже “того”, — он замолчал, взял бутылку, тщательно прицелил горлышко и налил себе полную рюмку, расплескав водку на стол.

— Миш, хватит, — потянула его за рукав жена Светка. Мишка дернул рукой.

— Молчи. Ты тоже антисемитка, — и опрокинул рюмку себе в рот. Все засмеялись.

— Между прочим, записывать в антисемиты всех, кто хоть в чем-то выказывает неодобрение, — типично еврейская манера, — сказал князь с улыбкой.

— Глупо шутишь, князь, — вскинулась Сонька, — сволочь твой Астафьев, хоть и хороший писатель! Нашел, кого оправдывать!

Дворник неожиданно подал голос. Обычно за общим столом он молчал.

— Хороший писатель антисемитом быть не может, — заявил он. Елена оглянулась на Дворника. Он был довольно сильно пьян, взгляд у него остекленел, к лицу прилила кровь.

“Пора чай подавать, — подумала Елена, — перепились все”.

— Ну почему же, — протянул князь, — улыбка его стала издевательской, — Астафьев вполне в русле великой русской литературы. Следует за Гоголем, Достоевским и Чеховым, я уж не поминаю более мелких имен. Пылкая нравственная позиция, вроде вашей, часто сочетается с недостатком образования.

“Зачем он так, — поморщилась Елена, — грубо, хамски, совсем на князя не похоже”.

Дальнейшее напоминало плохое кино. Женя, сидевший напротив Сергея, поднялся, оперся левой рукой о стол, а правой ткнул Сергея кулаком, целясь в нос. Тот успел слегка уклониться, и кулак скользнул по скуле. У Сергея по лицу поползли красные пятна — когда он волновался, он всегда как-то некрасиво и нелепо краснел. Он схватил свой стакан с красным вином и выплеснул в Женю. Вино растеклось по груди белого свитера. Сергей вскочил, выпрямился, опрокинув свой стул, и пытался выбраться из узкого пространства между столом и стеной. Сидевшие рядом с ним повскакали с мест. Игла съехала с пластинки, издав отвратительный визг, проигрыватель захрипел и замолк. Елена с криком повисла на Жене. Князь с трудом пролез через тесно поставленные стулья и оказался возле двери. Танька, Еленина подруга, кинулась к нему с выражением какого-то сочувствия, мужики выбирались из-за стола с намерением воспрепятствовать драке, Андрей отступил к шкафу и скептически наблюдал за происходящим, явно не собираясь вмешиваться. Шум стоял страшный, все что-то кричали. Елена уже не висела на Жене, а, закрывая его спиной и выпятив грудь, следила за Сергеем. Резник, сидевший в дальнем конце стола, налил себе рюмку водки и выпил. Сергей грубо оттолкнул цеплявшуюся за него Таньку и шагнул к Жене.

— Елена, отойди!

Елена помотала головой и двумя руками уцепилась за Женину руку. Женя не пытался освободиться, но смотрел на Сергея с ненавистью налитыми кровью пьяными глазами.

— Сереж, не надо, Сереж, ну его, — Танька упорно пыта-

лась оттянуть Сергея в сторону, кто-то из ребят протиснулся между Сергеем и Женькой. Сергей сделал несколько беспомощных, неловких движений, но в толпе и тесноте он даже ударить Женю не мог, Елена мешала ему.

— Ну что ж! Я оценил твой выбор, хотя и не ожидал такой тяги к плебсу, — медленно произнес он. — Извини, оставаться тут я больше не могу. Не на дуэль же его вызывать! С днем рождения!

Круто развернувшись, князь вышел в коридор. Хлопнула входная дверь.

— Ну ты псих, — сказала Елена Жене, переводя дыхание, — пойдем поговорим.

Не обращая ни на кого внимания, она потянула его за рукав на кухню. На кухне никого не было. В раковине громоздилась грязная посуда. Присесть было не на что — все стулья вынесли в комнату.

— Ты что — с ума сошел? — Женя молчал, глядя на нее в упор пьяными, налитыми кровью глазами, и вдруг со словами: “Что ты в меня вцепилась, рожу его берегла?”, — ударил ее по щеке. Больно не было, было мучительно стыдно, обидно и страшно. Елена стиснула зубы, стараясь не заплакать, выскочила из кухни, проскользнула к себе и заперла дверь.

Видимо, ее отсутствие заметили не сразу. Через некоторое время в комнату постучал Андрей. Елена сказала, что ей плохо, она пьяная и выйти не может. Гости вскоре разошлись.

В квартире настала полная тишина, Елена выскользнула на минутку, но, увидев, что из-под Андрюшиной двери падает полоска света, поспешила спрятаться обратно, стянув из кухни недопитую бутылку, оказавшуюся кислым красным вином. Стараясь не шуметь, она заперлась снова. В комнате было почти темно, горел только старенький ночник с розовым абажурчиком, и все предметы отбрасывали на стены длинные бесформенные тени. Комната у Елены была маленькая, узкая и вытянутая как вагон. В ней с трудом помещались письменный стол, диван, шкаф и книжные полки. Вид комнаты не менялся с детства, и книги на полках стояли до сих пор большей частью детские: Библиотека приключе-

ний, зелененькое собрание Аркадия Гайдара, оранжевый Майн Рид. Диван можно было разложить, превратив в двухспальный, но ходить при этом по комнате было уже нельзя. Коврик на полу, когда-то красный с синим рисунком, давно потерял и цвет, и рисунок, и часть бахромы, а в одном месте протерся до дырки. В угол под лампадку было чудом втиснуто кресло — в нем-то Елена и сидела. В своей комнате, за закрытой дверью, у детского ночничка она всегда быстро успокаивалась и приходила в себя. Комната — островок застывшего времени, задержавшегося детства — давала ощущение защищенности. На окне чахли кактусы — единственные цветы, выживавшие под ее покровительством. Елена маялась и обращала свой внутренний монолог к самому большому, кривобокому, пыльному кактусу, подвязанному белой веревочкой к оконной ручке. Убогий вид кактуса настраивал на жалость — к кактусу, к жизни, к себе... Почему с ней вечно приключаются какие-то грязноватые истории? Князя ей было совершенно не жалко. Роман их был неудачным и каким-то унижительным. Все время получалось, что она чего-то домогалась, просила, требовала, а Сергей снисходил. Месяц назад он ее фактически бросил, так, позванивал для видимости, раз в три-четыре дня, и вечно был занят, трудно вспомнить, когда она с ним спала последний раз. Не то чтобы Сергей был ей нужен, но она прозевала момент, когда надо было бросить его первой, и получилось, что она ему надоела вечными своими капризами, идеями, разговорами по душам. А с кем прикажете разговаривать — подруг нет, от братца слова не добьешься... Нет, князя не жалко. Но нелепость разыгравшейся сцены, дурацкое поведение Дворника, пощечина, полученная первый раз в жизни, — это-то за что? Дворник — мудака, прости Господи. Хорошо, никто не видел, но дальше-то что делать? Послать, выгнать, а что она скажет всем? Ерунда, найдется что сказать, не в этом дело, но она уже придумала себе романтическую историю, заигралась, почувствовала себя прекрасной принцессой, объектом неудовлетворенного вожделения. Мало ли почему он не решался ее трахнуть. Может быть, она кажется ему недоступной, возвышенной... Ну, это вряд ли, но ведь то, что произошло, — точно сцена ревности. А скверная у него была рожа. Елена чувство-

вала смутную тревогу. Положим, напился, приревновал, он видел, что у нее с князем какие-то особые отношения, но бить? И взгляд этот, тупой, бешеный. “Лезу в какое-то говно”. — “Лезешь”, — мрачно подтвердил внутренний голос. Коньяк надо пить, а не кислятину. От коньяка внутренний голос затыкается. Она постелила постель и легла. Спать не хотелось, хотелось курить, сигареты кончились, от сухого вина сводило скулы, внутренний голос раздражал здравомыслием и простотой предлагаемых решений: Женю послать, коньяка не пить, лечь спать и начать с утра новую жизнь.

Елена открыла дверь, прошла в ванную, потом разыскала на кухне коньяк и сигареты. К счастью, коньяк не выпили — он предназначался к кофе, до которого дело не дошло. Свет у Андрея все еще горел, и Елена рыскала по кухне в темноте, распознавая содержимое бутылок на вкус. Два раза попалась водка и один раз вермут, который она отпила с удовольствием. Найдя коньяк, она прокралась в свою комнату на цыпочках, залезла в постель, закурила, наполнила стакан и только приготовилась выпить, когда дверь открылась и Елена увидела Женю. Он бесшумно прошел по ковру и присел на край ее дивана.

— Прости меня, Аленушка, — тихо сказал Женя.

Елена поднесла коньяк к губам и выпила его залпом в полной растерянности. Что ее больше поразило, его внезапное появление или имя, которым он ее наградил? Во всяком случае прощать сразу было ни в коем случае нельзя, следовало сначала помучить, пообижаться, может быть даже заставить постоять на коленях. Женя сидел, опустив голову и глядя в пол, будто разглядывал узоры вытертого ковра. Елена спросила:

— Коньяка хочешь?

Женя кивнул, взял у нее из рук стакан, плеснул туда коньяку, выпил, поморщился и вдруг, поглядев на нее исподлобья, улыбнулся и снова уткнул глаза в пол. От его дурацкой виноватой улыбки, жалкой позы вдруг стало легко, тепло и спокойно. Пьяница чертов, Отелло, нахохлился, как попугай. Готов и на колени вставать, и руки целовать — на что угодно готов, лишь бы не выгнала. И, скомкав мелодраматическую сцену, Елена улыбнулась, как ей казалось,

величественно и великодушно, как умела ее мама.

— Жень, а ты еврей?

— Наполовину. По матери. Но я не из-за этого ему по морде дал. Я не все слышал, что он там нес. Просто... — он замаялся, — но ты извини, ладно?

— Ладно. Я думала, ты ушел.

— Я бы ушел, но я пьяный очень был. Зашел к Андрею в комнату, присел на диван и уснул. Андрей, кстати, твоего князя терпеть не может.

— Это он тебе сказал?

— Да нет, просто он меня не выгнал, ждал, пока проснусь. Вроде не будил даже.

“Разбудишь тебя, как же! Я однажды пыталась”, подумала Елена. Она налила себе еще, выпила и, затаившись сигаретой, откинулась на подушку. В голове шумело, и, когда она закрывала глаза, ей казалось, что она тошнотворно-медленно опрокидывается назад. Женя рассказал, как пьяный Резник жал ему руку, как они пили на брудершафт, а потом Мишка уснул в кресле и жена с трудом растолкала его и увела. Потом Женя замолчал, наклонился и поправил ей волосы. Елена постаралась остановить мир, который плыл перед глазами, и улыбнулась. Он взял ее руку и поцеловал: сначала кисть, потом ладонь, потом каждый пальчик отдельно. Вдруг он бросил ее руку и потянулся к бутылке.

— Давай выпьем, — голос его прозвучал сдавленно.

Он плеснул Елене в стакан, а сам допил остатки из горлышка. Елена поколебалась и выпила залпом. Вот этого-то и не следовало делать. Елена вскочила, оттолкнула Женю и, зажимая себе рот рукой, выскочила из комнаты.

Когда наконец она выбралась из туалета и вошла в ванную, из зеркала на нее поглядело несчастное лохматое существо, бледное до зеленоватого оттенка. Елена хотела умыться, присела на край ванны и пустила воду. Голова сама собой склонилась на раковину...

Сквозь сон она чувствовала, что ее кто-то несет, кладет в постель. Некоторое время ее бил озноб, потом стало жарко. Больше она ничего не помнила.

Когда Елена проснулась, она увидела, что Женя сидит на краю дивана в свитере и надевает джинсы. Диван был раз-

ложен, судя по всему, они всю ночь проспали рядом. За окном еще не рассвело окончательно. Во рту было отвратительно сухо, голова разламывалась, и когда она заговорила, то голоса своего не узнала.

— Ты куда?

— Тимирязева обметать, — Женя встал и повернулся к ней лицом. На его шикарном белом свитере расплывалось винное пятно.

— погоди, ты весь грязный! Оставь свитер, я отстираю. У меня пятновыводитель английский есть.

И, не слушая возражений, Елена вскочила, полезла в шкаф, вытащила свой любимый серый свитер. Он был такой громадный, что влез даже на Женю. Измученная этой активностью, ощущая головокружение и тошноту, Елена бессильно повалилась обратно на диван. Женя молча вышел из комнаты и тут же вернулся, держа в руках бутылку и стакан. Он налил Елене вина:

— С добрым утром, дружок!

О Боже, только “дружочка” ей не хватало. Впрочем, от вина стало легче.

— Я на днях позвоню, — сказал Женя и вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Елена провалилась в похмельное забытие.

— Знаешь, Галка, это не моя жизнь. Не моя... Я не могу найти в ней места. Она как-то катилась, катилась и прикатилась в этот чертов Бруклин, а я по дороге от нее отстала.

Разговор этот происходил примерно за полгода до аварии. Ленка присела, не раздеваясь, на край диванчика в прихожей нашего дома в Нью-Джерси. Она приехала забрать Ваську и, по обыкновению, куда-то торопилась. Как всегда в последнее время, она была раздражена и печальна, цвет лица стал каким-то землистым. Мы только недавно купили этот дом, даже не дом, а кондо в тихом, зеленом городке. Квартира была абсолютно новая, современная, двухэтажная, с высоченным потолком в гостиной, блестящим паркетом, деревянной лестницей, джакузи в ванной — ужасно не похожая на все наши предыдущие жилища. Я гордилась ею — первой в моей жизни собственной квартирой. Мы влезли в долги и купили дорогую современную мебель. Стол

в столовой матово поблескивает черным лаком, в нем отражается низко висящая люстра, Черный кожаный диван в гостиной — не американская пухлая уродина, а итальянский, строгих линий, с высокой спинкой, прекрасно гармонирует со стеклянным журнальным столиком и стенкой, тоже итальянской, черной с серебристой отделкой. На стенах висит только пара гравюр — я терпеть не могу Ленкину манеру увешивать все стенки разномастными картинками. Словом, мне удалось устроить такой дом, о котором я всю жизнь мечтала — и я была счастлива. Ленке на мои восторги было наплевать. Она терпеть не могла Нью-Джерси, издевалась над тем, что все домики в нашей застройке одинаковые, как караван-сарай, что вокруг не город, а деревня, посмеивалась над планировкой, паркетом, камином, мебелью — “массовое производство, дворцы для бедных, американская мечта”. Мне было обидно. Чем это провинциальный, нищий Бруклин лучше? Грязные, заваленные мусором улицы, разбитые мостовые, мрачные, уродливые многоквартирные дома — “apartment buildings”, украшенные по фасадам черными пожарными лестницами, внутри теснота, тонкие стенки, слышно каждое слово, произносимое у соседей, тараканы, мыши. Маленькие тесные магазинчики с дурным запахом, грохочущий сабвей на головой, невозможно запарковать машину, по вечерам опасно ходить. Уж если Бруклин и похож на город, это не тот город, в котором мне хотелось бы жить.

Ленка сидела боком на диване, опустив голову. Растрепанные волосы закрывали лицо, большая цветастая шаль была кое-как намотана на шею, один конец свисал до пола.

— Я пыталась, я столько всего перепробовала — и с американцем жила, и с русским, и со старым, и с молодым, и в Москву уезжала — один черт, ничего не выходит. Я как-то застряла нигде, меня нет, то есть места мне нет, понимаешь. Как в дурном сне, все кажется, сейчас проснусь — и дома, а дома нет. Я домой хочу, Галка, домой!

Она вытащила сигареты, закурила, повертела головой в поисках пепельницы. Обычно я запрещаю курить дома, но у нее был настолько несчастный вид, что я промолчала и принесла с кухни блюдо. Пока я ходила, Ленка стряхнула

пепел в горшок с кактусом, стоящий рядом на тумбочке.

— Странная у тебя манера, Галь, — кактус в прихожей держать.

— Это чтобы тумбочку всякой дрянью не заваливали.

— Аа... — она неприязненно огляделась, — да, чисто у тебя тут... Домой хочу.

— А куда — домой?

— Не знаю. Просто чувство такое все время — хочу домой. Истеричкой стала. Злой и глупой истеричкой. Ни друзей, ни семьи.

— А Ян?

— Что Ян? Дурачок он, эгоистичный, депрессивный мальчишка. Мне своей депрессии хватает. Я воскресенья возненавидела. Всегда любила, а теперь ненавижу. Мы с Яном как два зэка в камере, друг другу опротивели, а деваться некуда.

— Ты преувеличиваешь, Лен. Любит тебя твой Ян.

— А мне что с его любви? Ложкой ее хлебать? Я что ни попрошу — в глазах читаю — отстань, — Ленка употребила более сильное слово. — Он в выходные дрыхнет до двенадцати, нам с Васькой деваться некуда, потом встает и до двух слова от него не добьешься. Я уж забыла, когда мы вместе завтракали. Помнишь утренний кофе на Малой Бронной? Как мы жили, помнишь?

Еще бы я не помнила. Утренний кофе и неизменные оладьи с яблоками подавались по воскресеньям ровно в десять утра. Елена крутилась на кухне с половины десятого, вкусные запахи расплзались по квартире. Она сервировала стол с особым старанием — колбаса на тарелке, варенье в хрустальной вазочке, сливки в молочнике — старом, тонкого фарфора, но с отбитой ручкой. Приглашая к столу, Ленка каждый раз сияла и ожидала похвал. За столом по воскресеньям сидели долго, если находилась компания, то почти до обеда.

В такое вот утро вскоре после злополучного дня рождения мы сидели на кухне вчетвером — Ленка, Андрей, я и Дворник, который забрел на огонек полчаса назад. У Дворника вид чопорный и немного смущенный. После дня рождения он как будто немного стесняется в Ленкином присут-

ствии, хотя и поддразнивает ее все время. Андрея я почему-то не вижу. Тут память, обычно цепкая и внимательная к деталям, подводит меня. Я пытаюсь взглядеться в картинку, но различаю только светлую рубашку, птичий наклон головы, руку, лежащую на столе. И голоса его не слышу — только Ленкин, низкий, прокуренный, с насмешливыми интонациями. Эти интонации — в ее манере говорить, даже если она не смеется.

— А все-таки в Питер на конференцию посылают меня. Ковалева так бесилась, носом землю рыла — у меня аспирантура, мне по теме, а шеф сказал, мне надо набирать информацию для диплома, — Ленка фыркнула, — говенная, конечно, конференция, но потусуюсь.

— Мне бы тоже надо в Питер съездить, — сказал Женя.

Ленка насторожилась, как гончая, а потом заулыбалась приторно-нежной улыбкой:

— Как здорово! Женечка, поехали вместе! Не люблю она, — она сыпала словами и искательно заглядывала ему в глаза, обещала достать билеты на “Красную Стрелу”, тараторила что-то о верхней полке, на которой хочет ехать, о купейном вагоне, о Питере, который любит и хочет ему показывать по-своему. Женя поколебался некоторое время, то ли всерьез, то ли для вида, и согласился.

Ленка стала убирать со стола. Она так и сияла торжеством. Видно было, что она пытается согнать улыбку, но губы все равно разъезжаются. Радио вдруг загнусило непередаваемо противным голосом: “КОАПП, КОАПП, КОАПП” — началась детская передача. Ленка хихикнула, Андрюша протянул руку и выдернул шнур из розетки.

Ленка с Женей уехали через три дня, в среду.

К поезду они, конечно, опаздывали, и Женя сердился на Елену, поэтому в вагон вошли молча. Накрапывал дождик, по черному перрону растеклись мелкие лужи, бегущие вдоль поезда опаздывающие пассажиры звонко шлепали по ним, разбрызгивая воду. Проводники уже закрывали двери, редкие провожающие — их всегда мало на ленинградских поездах — махали руками, заглядывали в окна, жестикулировали и кричали. За краем платформы путаница мокрых, блестящих рельсов убежала в темноту и смутно угадывались

очертания каких-то лабазов, туманные фонари. Запах гари и мазута стелился над вокзалом, мокрый поезд подрагивал, готовый тронуться. Растрепанная, вспотевшая после безумного бега вверх по эскалатору, судорожного проталкивания через крикливую, суетящуюся, груженную тюками вокзальную толпу, Елена пыталась отдышаться. Сердце сладко заныло предчувствием дороги. В поезде Елену всегда охватывало возбуждение. Она замирала, как ребенок перед праздником, и с нетерпением отсчитывала секунды, оставшиеся до отправления. Мягкий толчок — и вот перрон уже медленно поплыл, оборвался, колеса застучали мерно, замелькали расплывчатые освещенные пятна. Елена оторвала взгляд от окна, оглядела купе, повесила куртку на крюк у двери и посмотрела на Женьку таким торжествующим и счастливым взглядом, что все его раздражение растаяло и он улыбнулся в ответ.

Их попутчиком оказался мичман из Кронштадта, возвращавшийся на корабль из отпуска. Четвертая полка пустовала. Елена немедленно завела знакомство с мичманом и вскоре выяснила, что он ездил к родителям в деревню под Рязанью, что в колхозе стало совсем хреново, народ обленился, корову держать никто не хочет, что нынешние матросы никуда не годятся, одни дистрофики, а все из-за массового алкоголизма, что вот журналы стали себе позволять, ругают армию, словом, кучу полезных сведений. Женя молчал, сидя на полке в расслабленной позе и с улыбкой следил за Еленой. Было решено курить в купе. Женя вытащил из сумки бутылку водки и пачку сухого печенья, Елена — два яблока и почему-то лимон. Мичман, несмотря на рассуждения о повальном пьянстве, в долгу не остался, появилась вторая бутылка, шмат деревенского сала и хлеб. Вонючий дым “Казбека” заволок полутемное купе.

Через час водка была выпита, и мичман собрался спать. Елена с трудом открыла окно и потащила Женьку в тамбур — немного проветриться и протрезветь. Сама она пила мало, чутко прислушиваясь к своему организму.

В тамбуре было холодно и грязно, из туалета несло мочой и хлоркой. За окном бежала, сливаясь, цепочка огней. Женя закурил и прислонился лбом к стеклу. Рукава ста-

ренького, растянутого и обвисшего серого свитера протерлись на локтях. Джинсы тоже были не первой свежести. Елена подошла сзади и прижалась щекой к его спине. Свитер пах табаком, потом и почему-то масляной краской. Женька закинул руки назад и обхватил ее, потом обернулся, обнял, притянул к себе и погладил по волосам. Елена подняла лицо, зажмурилась. Ничего не произошло. Она открыла глаза. Женька смотрел на нее нежно и грустно. Елена обхватила его руками за шею, привстала на цыпочки и потянулась к нему губами. И тут Женька наконец ее поцеловал.

На какое-то время грязный тамбур, поезд, дурные запахи, звуки — все перестало существовать.

Из забытья их обоих вывело хлопанье двери. В тамбур вошли два толстых дядьки в белых майках. Дядьки смерили их любопытными взглядами и заговорили о футболе. Один из них был каким-то особенно пузатым, и от вида этого пуза, выпирающего из обвислых черных тренировочных штанов, оттопыривающихся пузырями на коленях, от ключев седых волос, торчащих из подмышек и кустившихся на груди, от запаха перегара и громких голосов Елену затошнило.

Она потянула Женьку за рукав, они вошли в тихий спящий вагон и отыскивали дверь своего купе. В купе было очень холодно, но табачная вонь немного выветрилась. Мичман лежал на нижней полке на спине и храпел, как капитан, заглушая громкий из-за открытого окна стук колес.

— Обратно — только СВ, — сказала Елена с раздражением. Женя вместо ответа притянул ее к себе и прикоснулся губами к волосам.

— Будем спать?

— Давай еще посидим немножко.

Пока Женя закрывал окно, Елена погасила свет, залезла на верхнюю полку и уселась по-турецки около ночничка. Простыни пахли прачечной. Елена устроилась поудобней, завернулась в одеяло и позвала Женю. Он сел у нее в ногах, взял ее руку и начал перебирать пальцы.

— Жень, расскажи мне о себе, а? Ты ничего мне не рассказывал. Не дворник же ты в самом деле?

— Конечно, не только дворник, — Женя выпустил ее руку, вытащил из кармана пачку сигарет. Он долго молча вы-

нимал сигарету, крутил ее в пальцах, прикуривал, потом взглянул на Елену. — Художник я. Ну был художником.

— Почему — был?

— Это долгая история, Лен, долгая и скверная.

Видимо, ему все-таки хотелось рассказывать, поэтому, помолчав, он заговорил снова.

— Видишь ли, я на учете.

— На каком? — Не поняла Елена. Женька сидел к ней в профиль, опустив голову, и выражения его лица она не видела. Мичман внизу на секунду затих, потом изверг целый каскад звуков, забормотал и снова захрапел ровно и мощно.

— На психиатрическом.

— Аа... В армии что ли психопатию закосил?

Женька усмехнулся невесело.

— Разбираешься. До армии. Я из “Суриков” вылетел, со второго курса. Ну не служить же. Я пошел к психиатру, депрессия, то да се, меня парень один научил. Только психопатии у меня не вышло. Мне шизофрению заделали, вяло-текущую и пожизненный учет.

— Бывает, — философски заметила Елена. — У меня половина приятелей такие шизофреники. Она успела нащупать Женину руку и гладила его пальцы. Увидев, что его слова не произвели удручающего впечатления и Елена не пугается и не считает его сумасшедшим, Дворник заметно приободрился, развернулся к ней лицом, накрыл обе ее руки своими ладонями.

— Ну, на работу хорошую меня, понятно, не брали, да я и не стремился, рисовал себе и все. Зарабатывал чем придется. Сантехником был, сторожем, — ну где брали и где времени свободного много. Одно время натурщиком был в тех же “Суриках”. Я много тогда получал, рублей двести. У меня как раз сын родился, вот я семью и кормил. Мы с ней долго прожили, лет восемь.

— А кто у тебя жена?

— Светка-то? Да вроде тебя — искусствовед. Экскурсии по Москве водит. Кремль там всякий, музеи. Она красивая. Я ее писал много.

— А потом?

— Потом... — Женя снова напрягся, отвернул лицо, слова

подбирал с трудом, — потом, в общем, ну... Ну пил я. Ну не то чтобы пил, но... как-то надоело все. И мне надоело, и Светке. Сыну семь лет, отец неудачник. Ни Манеж не выставляет, ни иностранцы не покупают. Кто знает художника Евгения Алимова? Да никто.

— А ты что — татарин?

— Да еврей я, я ж тебе говорил. Фамилия папашина, я его никогда не видал. — Женька говорил тихо, монотонным голосом. Поезд шел быстро, колеса постукивали, мичман храпел. Слабый синеватый свет лампочки выхватывал из темноты Женькины руки. Пальцы с широкими плоскими ногтями перебирали край одеяла. Лицо оставалось в тени.

— Высказала мне Светка все это как-то раз. Я поддатый пришел, днем, часа в четыре. Обиделся, озверел. Я ведь любил ее. А потом она сказала... ну неважно, в общем, я и правда пил много, и я знал, что у нее есть кто-то, то есть догадывался, чувствовал, только говорить об этом боялся. Ну и как-то слово за слово, этим самым по столу, она мне, я ей про любовника, она... В общем ударил я ее. Не знаю, как это вышло, но я сильно ударил, не как тебя тогда, след на щеке остался. Светка завизжала и выскочила из квартиры. А сын в это время у бабушки был, у тещи моей. Ну Светка убежала, а я сижу на кухне, тошно. Пошел в комнату и стал картинку свои рвать. Я темперой писал на бумаге — рвется легко. Тут звонок в дверь. Я кинулся, думал — Светка, открыл, а там милиционер и два мужика в белых халатах. Светка психовозку вызвала. Но они даже втроем меня не сразу скрутили. Я вырвался и на подоконник вскочил — окно открыто было, а у нас седьмой этаж. Ну, словом, закатали меня в ту же Кашенко, в тяжелое отделение — буйные проявления, попытка суицида, ну и полечили немножко. Это я сейчас похудел, а из больницы с такой ряхой вышел — от нейрорептиков. Светка, пока я в больнице загорал, на развод подала.

Ничего себе история! Елена ощущала полную растерянность. Женьку было ужасно жалко, хотелось обнять, поцеловать, заглянуть в глаза, но что-то сдерживало Елену. Она подумала, что немного все-таки побаивается его. Куда я лезу, Боже мой, куда я лезу? Впрочем, с поезда на ходу не

спрыгнешь. Женя, помолчав, заговорил снова тем же безразличным голосом, будто рассказывал о ком-то другом.

— Я когда из больницы вышел, мне идти было некуда, и я поехал к другу, к Косте Игнатьеву. Он тоже художник, но официальный, у него мастерская есть на Тверской-Ямской в подвальчике. Вот я и живу у Котьки в мастерской. Там туалет есть, умывальник. Светка работы мои отдала, которые я порвать не успел. Но я почти все порвал. Я даже писать опять пробовал, но не получается. Руки после больницы долго дрожали, и вообще. Так, рисую иногда. Я после больницы месяц, наверно, из дому не вылезал, ждал, пока морда похудеет. А потом на работу устроился дворником. Выпили мы с Котькой по этому поводу, а потом он мне бутылку коньяка дал и говорит: “Иди, говорит, сними себе телку какую-нибудь на Тверском”.

— А ты?

— Ну я и снял.

— Кого?

— Тебя — кого... Я сейчас приду. — Женя неожиданно спрыгнул с полки и вышел из купе.

Елена ждала его довольно долго, пытаясь собраться с мыслями, но мысли не собирались, а стучали в голове в такт колесам: вот так как, вот так-так, ну дела, вот те на... За окном рассвело, блеклый свет уже заливал купе, высветились на столе остатки пиршества — пачка из-под печенья, огрызок яблока, шкурки сала, окурки, пустые бутылки, надкусанный лимон. Мичман уткнулся носом в стену и наконец затих. Постель на верхней полке была разворочена, мышинного цвета сиротское одеяло свисало до полу. Ну дела... “Меня замучили дела, каждый день дотла”, ну, дела... И она отправилась разыскивать Женьку.

Женька стоял в тамбуре и смотрел в окно. Поезд шел быстро, мимо окон проносились пригородные станции. Елена подошла сзади и потянула его за свитер, он не оглянулся. Тогда Елена взяла его за локоть и заставила развернуться. Лицо у Дворника было усталым.

— Поцелуй меня, — потребовала Елена.

Женька обнял ее и прижал ее лоб к своему плечу.

— Дружочек мой...

У Елены защипало глаза. Она обхватила его за шею, пригнула к себе и начала целовать без разбору — глаза, нос, щеки, губы. “Женька, ты дурак, Женька, не беги от меня, Женька”. Он вдруг отстранился:

— За что ты меня так любишь?

Елена смутилась. И правда дурак. “Да не люблю я тебя, придумал тоже”, — подумала она, но вслух этого произносить не стала. К тому же он так нежно произносит это дурацкое слово “дружочек”. Женя снова прижал ее к себе.

— Я хочу тебя. Сейчас.

Елена обернулась в поиске удобного места и случайно глянула в окно. Поезд медленно вползал под крышу. С мочой и хлоркой смешивался запах гари и мазута — извечный запах вокзала.

В Ленинграде, как всегда, шел дождь.

— Сколько я ни приезжаю в этот город, — в нем всегда дождь. Хоть бы иногда снег — для разнообразия, — пожаловалась Елена. Женя молча кивнул.

Они бесцельно брели по Невскому в направлении Дворцовой площади. Порывистый ветер с Невы брызгал в лицо, сигарета сразу намокала и гасла. Прохожих было мало, они шагали торопливо, прижимаясь поближе к домам. Зонтик не помогал от дождя, его сразу выворачивало ветром. На почтительном расстоянии с достоинством трусила мокрая рыжая дворняга, непонятно, шла она за ними или просто по своим делам. Город слинял под дождем, Шпиль Адмиралтейства был еле виден, дома казались промокшими насквозь, а фасады — черно-серыми от воды. За всю дорогу от вокзала Женя не сказал ни слова и ни разу не взглянул на Елену.

— У тебя есть где остановиться?

— Угу, — Женя опять кивнул.

— Со мной? — Он отрицательно помотал головой.

— Я могу у дяди ночевать, здесь, у Пяти Углов, но я никого не могу туда привести.

— У меня тут приятель недалеко, но он с мамой в одной комнате, — наконец заговорил Женя, и вдруг добавил с тоской: — Пивка бы выпить...

— Командировка на два дня, завтра вечером можем ехать

в Москву. Ты билеты купишь?

— Угу.

— Женька, — Елена забежала вперед, заставив Женьку остановиться и поглядеть на нее, — купи, пожалуйста, СВ!

Женька наконец улыбнулся.

— Я постараюсь, малыш.

Проводив Елену до дверей дядиного дома и пообещав позвонить и погулять вместе по городу, Женя исчез в неизвестном направлении. Позвонил он только вечером следующего дня за час до отхода поезда, сказал, что купил билеты и предложил встретиться на вокзале. Елена не очень расстроилась из-за его отсутствия — два дня в Ленинграде были наполнены всяческой суетой. К тому же она устала от бессонной ночи в поезде и хотела малость отдохнуть от него.

Женька купил не СВ и даже не купе — им достались боковые полки в плацкартном вагоне. Елена подавила вздох разочарования и попыталась улыбнуться как ни в чем не бывало — где наша не пропадала! Вид у Дворника был неприступный. Он держался отчужденно и холодно, как в первые дни знакомства. Плацкартный вагон — шумный, вонючий, переполненный — не располагал к душевным беседам. Репродуктор, установленный в коридоре, вопил голосом Пугачевой: “Без меня тебе любимый мой...”, в купе напротив шумели и разливали водку солдаты, видимо, дембеля. В соседнем купе плакал и канючил ребенок лет трех. “Мама, ну дай, ну пожалуйста...” “Да что ты, бля, про Афган знаешь!” “Мама...” “А душманы суки, мы с Серегой видели...” “Мама, ну мам...” “Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом” — визг, мат, Пугачева, грязные носки, сортир, хлорка, — “Ваши билетки, граждане, приготовьте билетки. Ваши билетки...” “Вы слушали концерт по заявкам наших радиослушателей...” Елена немного посидела у столика, глядя в окно. “Да, Родина, милая Родина... Без мене тебе, без тебе мене — послал Бог идиота — не мог билетов купить...” Перед поездом Елена успела заскочить в Елисеевский на Невском и прихватить бутылку вермута. Очередь была длиннющей, кроме вермута, ничего не было, но она пролезла вперед и упростила какого-то разбит-

ного парня в черной кожаной куртке взять ей бутылку. Похоже, все эти усилия были напрасны. Елена поглядела на Женькино непроницаемое лицо и принялась стелить постели. Женька вышел в тамбур покурить. Кончив возиться с противными, холодными и влажными простынями, Елена вышла вслед за ним. В тамбуре Женя стоял один. Когда Елена подошла, он протянул руку и обнял ее за плечи. Поставили.

— Жень, а ты до сих пор любишь свою Свету?

Он пожал плечами и отвернулся к окну.

— Не знаю. Наверно.

Елена вынырнула из-под его руки и сделала шаг в сторону. Женька засунул руку в карман. Он упорно смотрел в окно. Они докурили и молча вошли в вагон. Елена сразу залезла на верхнюю полку и отвернулась к стене. До самой Москвы оба не сказали ни слова.

Почему я все время возвращаюсь мыслями к той давней истории? Прошли девять дней и сорок дней, жизнь наша постепенно стала возвращаться в нормальную колею. Мы пережили ужас разбора Ленкиной квартиры, кое-как распихали по знакомым одежду, мебель, всякое барахло — да у нее, в общем, не было толком ни мебели, ни вещей. Александра Павловна, постаревшая, слабая, безразличная ко всему, уехала обратно в Бостон — у них там квартира. Ленкин отец улетел в Израиль. Где болтается Алимов — не знаю, да и не очень хочу знать. Время от времени он звонит, в основном по ночам, бормочет что-то пьяным голосом, всхлипывает. Все собирается повидать Ваську, но пока не собрался. Васька... Васька не совсем понимает, что случилось, ходит в школу, играет с мальчишками, бегает за Андреем. Спит он плохо, часто просыпается от каких-то страхов, плачет и зовет маму.

Мы с Андреем не говорим о Ленке. Иногда по вечерам я ловлю тоскливый взгляд, который он бросает на телефон — они разговаривали почти каждый вечер, но Андрей молчит, молчу и я. Почему же я не могу остановиться, перестать думать о ней, перебирать прошлое? Почему мне кажется, что если я вспомню все, что происходило тогда, я пойму что-то очень важное, важное в моей сегодняшней жизни? Ленка

прожила свою жизнь нелепо, неправильно, глупо, она загнала себя в тупик, из которого не было выхода, она боялась постареть, даже сорок лет казались ей старостью. Она жила одними страстями, но... она была счастливей меня. И я часто ловлю себя на том, что из красивого моего дома, из благополучия и покоя, мне, так же как ей, хочется — д о м о й..

Женька пропал. Прошло две недели после возвращения из Ленинграда, а он ни разу не позвонил. Елена не находила себе места. Вначале она держалась, не выдавая своего настроения, но когда брат осторожно спросил, не поссорилась ли она с Дворником, она вдруг закричала, что это ее личное дело, что она видится с кем захочет и когда захочет, и в конце концов расплакалась и выскочила в свою комнату, хлопнув дверью. Она дергалась на каждый телефонный звонок, а потом совсем загрузила и старалась не подходить к телефону. Гости в доме практически не бывали. Елена стала мрачной, неразговорчивой, часто не по делу грубила. Время свободное она проводила, валяясь на диване и перечитывая много раз читанные книги. Ни одну книгу она не дочитывала до конца, бросала, начинала новую с середины и снова бросала. Раскрытые книжки валялись переплетом вверх по всей квартире — даже в туалете. Елена не пыталась искать причину Женькиного исчезновения, и никаких определенных мыслей у нее не возникало. Просто все было неинтересно и ненужно, и она была не нужна самой себе. Тоска, глухая и тягучая, неотвязная, захлестывала ее с утра. Елена машинально ходила на работу, забывала мыть голову и заносила свой нарядный бело-синий свитер до такого состояния, что как-то вечером, когда она легла спать, Андрей сам его постирал.

В один из дней Елена проснулась в шесть утра. Тоска была такой острой, что ощущалась физически, как боль где-то в груди, сдавливающая бронхи и мешающая дышать. Она тихонько оделась и, не взглянув на себя в зеркало, выскользнула из дома. Сыпал мелкий дождик. У самого подъезда пузырилась большая лужа. Елена попыталась ее перепрыгнуть и угодила в самую середину. Кроссовки моментально промокли насквозь. Быстро пробежав до Никитских ворот, Елена остановилась на углу. Ей было мучительно стыдно.

Сейчас она завернет за угол, перейдет улицу и столкнется с Дворником лицом к лицу. “И за что ты меня так любишь?” — “Я тебя не люблю”. Елена выбросила окурок и закурила новую сигарету. Что она ему скажет? Свободный человек, не приходит, значит не хочет. Женька, Женька... Раздавив пяткой сигарету, Елена шагнула вперед. У Тимирязева никого не было. Пустой бульвар, блестящие белые скамейки, черные стволы лип, размякшая, грязная земля. Елена дошла до памятника, обошла его кругом, сгребая ногой не подметенные листья. Слава Богу, его нет. Его нет. И где искать его — совершенно непонятно. Она медленно пошла домой. Октябрь кончился. Как он говорил? “Дружочек”. Надо же выдумать — дружочек! “Малыш” еще. Какого черта! “Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобой”. Он любит не тебя. Он тебя не любит.

Дома Елена взяла в руки телефонный аппарат, оттянула его, насколько позволял провод, подумала и с размаху швырнула на пол. Трубка отлетела, телефон хрустнул, задребезжал и затих. Когда Андрей вбежал в комнату, он увидел сестру, лежащую лицом вниз на неубранной постели в мокрой куртке и кроссовках и плачущую навзрыд.

Елена вернулась вечером с работы. Настроение по-прежнему было поганым. В квартире что-то изменилось — она почувствовала это сразу, как только отперла ключом дверь. Елена прислушалась — в ее комнате кто-то насвистывал. Она кинулась к себе, не обращая внимания, что ее сапоги оставляют на полу безобразные мокрые следы. На ковре спиной к двери сидел Женька. Он насвистывал сквозь зубы и ковырялся отверткой в телефоне. Ощувив слабость в ногах, Елена привалилась спиной к двери. Женя обернулся.

— Привет, — сказал он спокойно и снова занялся телефоном.

— Ты где пропадал? — Елена старалась говорить естественно, но голос не слушался, и все слова звучали раздельно.

— Болел.

— Чем?

— Воспалением легких. В Питере простыл, когда на вокзале ночевал.

- А друг с мамой в одной комнате?
- Я про них наврал.
- Зачем? Зачем ты вообще в Питер ездил?
- Лен, у тебя есть тонкая отвертка, эта не годится?

Елена прошла в сапогах по ковру, подошла к нему сзади, взяла за ухо и повернула к себе. Женя потянул ее за руку, заставил нагнуться и поцеловал.

- У тебя с сапог течет. Принеси отвертку.
- Засунь ее себе в жопу, – Елене стало смешно и легко.

Ну и мудака, Господи прости, ну и мудака!

- Ужинать будешь?
- Буду. Если оладьи с яблоками, то буду.
- С касторкой! – и Елена побежала снимать сапоги.

За ужином всем было весело, много и беспричинно смеялись, говорили глупости. Андрей, глядя на сестру, радовался за нее и главным образом за себя – атмосфера в доме последнее время была невыносима. Женя посматривал на Елену и фыркал. Оладий была подана целая гора.

– Ну, голубушка, еще раз расколотишь телефон, чинить не буду.

– Будешь, куда ты денешься, – Елена откусила оладью, и варенье потекло по подбородку. – Кстати, в ванной кран потек.

– Кран – завтра. Я устал.

Женька похудел и как-то осунулся. Елене очень хотелось погладить его по щеке, но она сдерживалась. Почувствовав ее взгляд, Женька опустил руку под стол и потрепал ее по коленке.

Когда Елена начала убирать со стола, Женька вдруг предложил Андрею сыграть в шахматы. Андрей вопросительно взглянул на Елену и согласился. Вымыв посуду, Елена пристроилась у Женьки под боком наблюдать за игрой. Женька обнял ее. Пух его свитера щекотал ей щеку. Елена привалилась к Женьке, ни о чем не думая. Прошедшие недели казались далеким дурным сном. Ах да, он же меня не любит, вспомнила Елена лениво и подняла глаза на Женю. Он сосредоточенно смотрел на доску. Врун чертов. Любит – не любит.

– Мат! – с удовольствием сказал Женя и громко чмокнул

Елену в затылок. Андрей не любил проигрывать Дворнику. Он смутился, снял очки, поискал на них невидимые пылинки и снова надел, потом ушел в свою комнату и вернулся с початой бутылкой коньяка.

— С меня причитается.

— Это откуда! — ахнула Елена. — Почему я не видала?

— Ты бы сразу выпила, сестрица Аленушка, — ответил за Андрея Женька. Елена пихнула его локтем в бок и полезла доставать рюмки.

Андрей вскоре ушел к себе. Он рано вставал на работу и любил рано ложиться. Женька курил, пытался выпускать кольца и следил за ними.

— Знаешь, Лен, я, пока болел, рисовать начал. Показать?

Елена энергично закивала. Женька вышел в коридор и достал из кармана куртки небольшой блокнот. Он был до половины заполнен карандашными набросками. На всех рисунках была она: Елена с книгой, с букетом листьев, с расческой у зеркала, Елена, присев, завязывает шнурок.

— Когда это ты меня рисовал?

— Пока болел.

— По памяти?

— Ну.

Не все рисунки были удачными, но Елена была безусловно похожа на себя. Впрочем, художественные достоинства ее в эту минуту волновали мало.

— У меня еще сюрприз есть, — он вытащил из блокнота сложенный листок. На Елену смотрело ее собственное лицо, только вот прическу такую она давно не носила. На обороте стояла дата: май, семьдесят девятый год.

— Где это ты меня рисовал?

— На КСП, в лесу. Ты с каким-то чуваком была, помнишь? Подсела к нашему костру, сигареты стреляла. Ну я тебя и нарисовал незаметно. Я и сам забыл, а недавно рисунок нашел.

— Я же говорила, Москва — город маленький!

Женя улыбался смущенно, как в то утро, когда они познакомились на кухне. Елена встала. Он обнял ее, притянул к себе. Она закрыла глаза. Женька поцеловал сначала один глаз, потом другой, потом приподнял ее подбородок и на-

шел губы. Елена прижалась к нему.

— Скажи мне “дружочек”!

— Дружочек мой, Ленка, дружочек.

Елена вдруг отстранилась.

— Я пойду стелить постель. Сегодня ты остаешься тут, — и, заметив его колебание, добавила еще решительнее: — Попробуй только сбежать — на порог больше не пущу.

— Стели постель, — ответил Женя, но улыбка с его лица сошла.

Елена оставила Женьку одного в комнате и ушла в душ. Когда она вернулась, свет был погашен, Женька лежал в кровати, светился огонек его сигареты. Елена сбросила халат и залезла под одеяло. Женя потушил сигарету, отставил пепельницу и привлек ее к себе. Сердце у нее колотилось втрое быстрее обычного. Некоторое время они молча нежно целовались. Елена вытянулась и всем телом прижалась к Женьке. Вдруг он оттолкнул ее и резко сел.

— Я ненавижу себя, — сказал он тихо и очень внятно, — я лучше уйду, Лен.

Елена растерялась. Она схватила Женьку за плечи и с силой повалила на подушку.

— В чем дело? — вздрогнув от собственной грубости, она сменила тон. — В чем дело, Женечка? — это звучало ненатурально, но не так прокурорски. — Рассказывай.

Елена дотянулась до пепельницы, поставила ее Женьке на грудь, чтобы он не мог встать, а сама уселась напротив, прикурила сразу две сигареты и одну вставила Женьке в рот. На наготу и неприличную позу с раздвинутыми коленями было наплевать. Из окна падал слабый свет, на шпиле высотного здания на площади Восстания уютно светились красные огоньки, почти голые ветки вяза чертили причудливый узор в бледном ночном небе.

— Добрая ты, Елена. Зачем тебе все это?

— Мое дело, зачем. Рассказывай.

— Что тебе рассказывать? Не могу я.

— Что не можешь?

— Ну... ну импотент я, — как только Женька произнес это ужасное слово, ему стало легче.

— Это не повод вскакивать среди ночи и бегать невесть

куда.

Женя усмехнулся.

— Зачем я тебе?

— Спать теплее, от окна дует, — Елена затаилась сигаретой. Да-а, этого она не ожидала и отвечала ему механически, пытаясь собраться с мыслями. — А ты уверен? Помнишь, в поезде?

— Не знаю. У меня еще со Светкой все разладилось. У нее мужик был, она какая-то чужая была, япил очень. Я ее за это слово-то и ударил. Вот. А потом, после больницы, я пошел к бабе одной, ну бывшей своей бабе, ну... Ну и все...

Терпение, сказала себе Елена, дело-то, может, и поправимое.

— Ты поэтому от меня бегал?

— Еще бы, — Женя погасил сигарету и попытался подняться.

— Давай просто полежим? В конце концов так даже лучше.

— Ты в этом уверена? — фыркнул Женя.

— Абсолютно. Как сказал Кант — “масса смешных и сутливых движений”.

— Когда это он сказал?

Елена легла на бок и стала рассказывать байку о том, как Кант терял невинность. Рассказывая, она перебирала его волосы, водила пальцем по щеке, носу, подбородку. Он поймал ее руку и поцеловал.

— Черт с ним, с Кантом, ты мне о себе расскажи.

— О себе... — ее рука соскользнула с подбородка на шею, потом на грудь. Женя вытянулся на спине и лежал неподвижно. — А знаешь, ты меня на КСП рисовал сразу после этого. Я была в девятом классе и была ужасно влюблена, — Елена говорила тихо и гладила его, едва касаясь пальцами и опуская руку все ниже. — Он меня старше был года на три, на гитаре играл, пел хорошо. Он эту песню пел, Визбора, ну ты знаешь, “Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня..” Девчонкам всем очень нравилось. Вот. Мне казалось, что он и не замечает меня совсем. А потом мы вместе на

этом КСП оказались, почти случайно, — ее рука, скользнув до паха, стала подниматься вверх, но Женька вернул руку на место, — и на ночном концерте меня кто-то усадил к нему на колени, холодно очень было, — Женька, по-прежнему глядя в потолок, медленно и как будто машинально проводил по ее груди тыльной стороной кисти, захватывая между пальцами сосок и сразу отпуская. Елена продолжала говорить, не обращая внимания на Женькины руки, — и вдруг он меня поцеловал. Мы тихонечко встали, выбрались из толпы и побежали в палатку.

Елене казалось, что ее ласка не остается бесследной, но она дотрагивалась осторожно и нежно.

— Я как-то постеснялась ему сказать, что я первый раз, и когда он это понял, на спальнике уже было пятно крови.

— Тебе было больно?

— Угу. А утром я пошла к соседнему костру стрелять сигареты. Ты, наверно, там и был.

— Ты красивая была. Глаза синие-синие.

— А сейчас?

Вместо ответа Женька притянул ее к себе и начал целовать. Елена спускалась губами на шею, потом на грудь, на живот. Он резким движением пригнул ее голову и, почувствовав прикосновение губ, застонал.

Дальше все произошло очень быстро. Елена запомнила только заливавшую ее горячую волну восторга, стук собственного сердца, бешеный ритм и торопливый Женькин шепот:

— Ленка, любимая, дружочек, Ленка, Ленка, ЛЕНКА!!!

Потом она лежала без всяких мыслей и без всяких чувств. Женька закурил, предложил ей сигарету, но она только помотала головой.

— Тебе хорошо?

— Ага, — Елена прижалась щекой к Женькиному плечу и провалилась в черную пустоту.

Продолжение в следующем номере.

ПИСЬМА

В.В.Набокова П.А.Перцову

Публикация, предисловие и примечания
Максима Д. Шраера (Бостон Колледж, США)

В 1970-е годы, готовя к публикации сборник “Details of a Sunset and Other Stories” (“Катастрофа и другие рассказы”, 1976), Владимир Набоков решил перевести заново рассказ “Возвращение Чорба”, заметив в предисловии, что перевод Глеба Струве, выполненный в 1930 году, показался ему “слишком робким по стилю и слишком неверным по ощущению для настоящей задачи”¹. Еще за несколько лет до этого писатель и его сын и сопереводчик Дмитрий Набоков подобным же образом оставили за кормой ранний перевод рассказа “Картофельный Эльф” и опубликовали новый перевод в сборнике “A Russian Beauty and Other Stories” (“Красавица и другие рассказы”, 1973). В то же время, три ранних английских перевода неоднократно переиздавались при жизни Набокова, начиная со сборника “Nine Stories” (“Девять рассказов”, 1947), и вошли в авторитетное собрание рассказов “The Stories of Vladimir Nabokov” (1995). Все три рассказа — “Пильграм”, “Весна в Фиальте” и “Облако, озеро, башня” были переведены на английский Петром А. Перцовым (Peter A. Pertzoff) в соавторстве с самим Набоковым.

Почти ничего не было написано об этом американском переводчике трех лучших рассказов Набокова.² Перцов родился в Санкт-Петербурге в 1908 году и эмигрировал в США в марте 1920 года через Манчжурию и Японию. Он учился в классической гимназии города Кембридж (шт. Массачусетс), а в 1933 году закончил Гарвардский университет со степенью бакалавра по английскому

* Introduction, translation, and commentary © 1999 Maxim D. Shroyer. All rights reserved. The materials by Vladimir Nabokov are reprinted by permission of the Vladimir Nabokov Estate. All rights reserved.

¹ Vladimir Nabokov, *Details of a Sunset and Other Stories*. Нью-Йорк, 1976, стр.58.

² См. восемь писем и три открытки В. В. Набокова П. А. Перцову в архиве Набокова в отделе рукописей Библиотеки Конгресса (опись 8, ед.хр. 21). В 1964 году Перцов передал письма Набокова в Библиотеку Конгресса. Кроме писем Набокова и документов в отделе рукописей, я также запросил и просмотрел личное досье Перцова в Библиотеке Конгресса (The Official Personnel File of Peter A. Pertzoff).

языку и литературе. Проучившись еще несколько лет в Гарвардской аспирантуре по отделению сравнительного литературоведения, Перцов вынужден был прервать свое образование из-за начавшегося психического заболевания. В конце тридцатых годов Перцов преподавал во Французском Лицее в Нью-Йорке. В 1940 году он получил диплом библиотекаря в Колумбийском университете, после чего несколько лет проработал в справочном отделе Нью-йоркской публичной библиотеки. Переехав в Итаку (шт. Нью-Йорк) в 1943 году, Перцов преподавал русский язык в Корнельском университете. Кроме Набокова, Перцов переводил и других эмигрантских авторов, включая Алданова. В 1945 году из-за рецидива заболевания он оставил Корнель. Перцов лечился у известного бостонского психиатра д-ра Джоржа М. Шломера (George M. Schlomer). После наступления ремиссии Перцов возобновил свою карьеру библиографа и переводчика, прослужив с 1948 года и до своей смерти в 1967 году в Библиотеке Конгресса.

Первое письмо Перцова было отправлено Набокову в Берлин летом 1933 года. Ничего не известно об их взаимоотношениях в течение следующих пяти лет (пробел в переписке). Их контакты возобновились в 1938 году, когда Набоков жил в Париже. В то время Перцов подумывал о переводе на английский второго сборника рассказов Набокова “Соглядатай” (1938). Вместо этого он перевел два рассказа, причем не самых лучших, из первого сборника Набокова “Возвращение Чорба” (1930). Переводчик надеялся, что первый из них, “Сказка”, будет опубликован в журнале “Эсквайр” (“Esquire”), где в 1939 году был напечатан перевод “Картофельного Эльфа” (Сергея Бертенсона и Ирэны Косинской). Как видно из переписки Набокова с его нью-йоркским литературным агентом, Альтаграцией де Джанелли (Altagracia de Janelli), перевод “Сказки”, а также перевод рассказа “Подлец”, так и не удалось пристроить в американские журналы.³

Ко времени переезда в США в мае 1940 года Набоков уже приобрел опыт работы с несколькими переводчиками, включая Винифреду Роя (Winifred Roy) и Глеба Струве. Неудовлетворенный качеством переводов своих вещей на английский, Набоков к тому времени сам перевел два романа (“Отчаяние” и “Камера обскура”), а также сочинил свой первый англоязычный роман “Настоящая жизнь Себастьяна Найта”. Вскоре после прибытия в Нью-Йорк Набоков продолжил творческое содружество с Перцовым. Через год, в июне 1941, в одном из лучших американских журналов “Атлантик Монтли” (“Atlantic Monthly”) был напечатан их совмест-

³ См. архив Набокова, отдел рукописей, Библиотека Конгресса, опись 8, ед. хр. 16.

ный перевод рассказа “Облако, озеро, башня”, а еще через несколько месяцев, в ноябре 1941, там же появился перевод “Пильграма”. Набоков и Перцов придерживались метода, предложенного самим Набоковым. Перцов сначала переводил текст на английский как можно ближе к оригиналу и посылал Набокову. Набоков подвергал текст “драконовской” правке, порой вычеркивая до 80 процентов слов на машинописной странице. После этого Перцов вносил изменения, переписывал текст на машинке и посылал Набокову на вторичную правку и проверку. После успеха в “Атлантик Монтли” Набоков предложил Перцову взяться за перевод романа “Дар”. Этот проект не увенчался успехом, после того как несколько ведущих американских издательств, включая Боббс-Мерилл, сочли роман чересчур “русским” и литературным.⁴ Несмотря на большое количество поправок и изменений, которые Набокову приходилось вносить в переводы Перцова, Набоков был переводами доволен и, очевидно, предполагал продолжать с Перцовым сотрудничество. Переписка оборвалась в 1944 году, и внезапный разрыв отношений между Набоковым и его американским переводчиком скорее всего следует отнести за счет возобновившейся душевной болезни Перцова.

Восемь писем и три почтовых открытки Набокова к Перцову публикуются здесь впервые. Мне хотелось бы поблагодарить Д. В. Набокова за любезное предоставление мне доступа в архив Набокова в Библиотеке Конгресса. Мне бы также хотелось поблагодарить Институт Кеннана по Изучению России и Бостон Колледж за финансовую поддержку.

Письма Набокова приводятся в авторской редакции, но в новой орфографии. Письмо от 25 июля 1941 года приводится в моем дословном переводе с английского. Все остальные письма и открытки написаны по-русски.

1.

Берлин, 21 августа 1933 г.

V. Nabokoff
Nestorstr. 22
b/Feigin⁵
Berlin – Halensee

⁴ См., например, внутренний отзыв А. И. Назарова (A. I. Nazarov), архив Набокова, опись 8, ед. хр. 16.

⁵ Анна Фейгина, двоюродная сестра Веры Набоковой; в то время Набоковы жили с ней в одной квартире.

Многоуважаемый Петр Александрович,

Я получил Ваше письмо от 25.7, приложенное к письму М. М. Карповича.⁶ Я очень уважаю Михаила Михайловича и после его рекомендации не сомневаюсь в том, что Вы превосходно справитесь с нелегкой задачей перевода моих вещей.

Насколько я понял, Вы хотели бы получить месяца на два опцион на Машеньку, Король, Дама, Валет и Защиту Лужина. Кроме последней вещи, которой я в настоящий момент не могу располагать, так как предоставил на нее опцион моему приятелю, русскому лектору Кингс Колледжа в Лондоне, я охотно исполняю Вашу просьбу. Что же касается Защиты Лужина, то я мог бы Вам дать ответ, если бы Ваш выбор все-таки остановился на этом романе, только с согласия моего приятеля, если бы затеянные им в Лондоне переговоры не увенчались успехом. Зато я никому еще не предлагал и не показывал двух позднейших моих романов, которые Вам вероятно еще не попадались в руки. Один из них, Подвиг, вышел недавно в Париже (сперва он был пропущен через “Современные записки”), второй, Камера Обскура, выйдет месяца через два, а до сих пор только успел пройти те же “Современные записки”, которые Вы без труда достанете.

Я буду рад, если наше сотрудничество увенчается [успехом. Я] буду ждать Ваших известий, а пока прошу Вас принять уверение в совершенном моем уважении.

В. Набоков

Р. S. Попадалась ли Вам весьма приятная для меня статья об эмигрантской литературе в “Америкен Меркюри” от июля? Если да, то не знаете ли, кто таков ее автор, Альберт Пэрри?⁷

Письмо; написано на машинке.

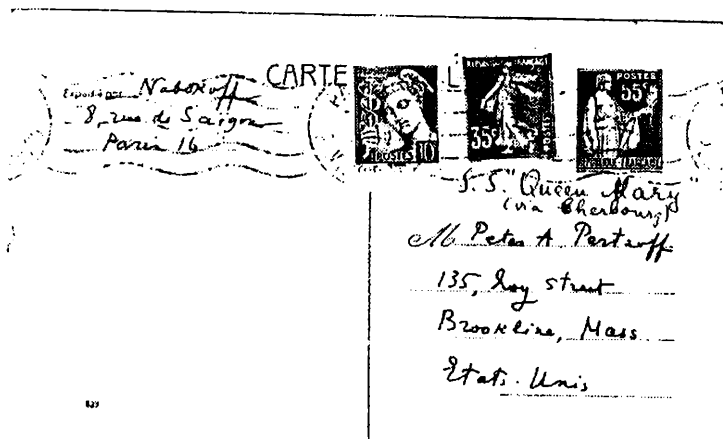
2.

24 ноября 1938

Nabokoff
8, rue de Saigon Paris 16

⁶ Михаил Карпович, политический деятель, историк, впоследствии профессор в Гарвардском университете.

⁷ Albert Parry, американский славист, поклонник Набокова, впоследствии профессор в Колгейтском университете. В обзорной статье “Belles Lettres among Russian Emigres” (Беллетристика русских эмигрантов) Пэрри высоко оценил творчество эмигрантских писателей младшего поколения (Алданов, Берберова, Набоков) и подверг критике произведения писателей старшего поколения (Бунин, Осоргин, Шмелев).



24. 11. 78

Дорогой Петр Александрович,
 Большое спасибо за образец перевода
 перевода. Очень хорошо. Мне только кажется что мои
 длинные фразы надобно по английски разбивать на
 несколько мелких. Резче, суше. (У вас одна маленькая
 ошибочка: "солнечник" это старое слово для "sunshade")
 Был бы очень доволен если бы вы перевели том "Соглядатая"⁸¹!
 Но все деловые переговоры должны вестись через моего
 агента, так что вам нужно обратиться к нему или
 к ней. Altagracia de Janelli 17 East 9th Street
 New York. Мне очень интересуют ваши статьи
 "Some errors in Russian" ... Жму руку и с наилучшими
 пожеланиями.
 А. Кабанов

Дорогой Петр Александрович,

Большое спасибо за образец перевода. Очень хорошо. Мне только кажется, что мои длинные фразы надобно разбивать на несколько мелких. Резче, суше. (У вас одна маленькая ошибочка: "солнечник" это старое слово для "sunshade".) Был бы очень доволен если бы вы перевели том "Соглядатая"⁸¹! Но все деловые переговоры должны вестись через моего агента, так что вам нужно обратиться к нему или вернее, к ней: Altagracia de Janelli, 17 East

⁸¹ Второй сборник рассказов Набокова, изданный в 1938 году издательством "Русские записки" (Париж — Харбин).

9th Street, New York. Меня очень интересует ваша статья “Some errors in Russian...”⁹ Жму вашу руку и с интересом жду от вас вестей.

В. Набоков

*Почтовая открытка; написано от руки и отправлено по адресу
Peter A. Pertzoff, 135 Ivy Street, Brookline, MA, Etats Unis.*

3.

[Почтовый штемпель 30 августа 1940, East Wardsboro, VT¹⁰]

Дорогой Петр Александрович,

Спасибо за милое письмо и за справку. Да, конечно, меня интересует всякая работа, а в частности – место в библиотеке.

Рассказ¹¹ я никак не мог найти перед отъездом. Очень рад, что он вам кажется подходящим. Если у вас время или охота пожалуйста переведите.

Скоро увидимся, с искренним приветом,

В. Набоков

*Почтовая открытка; написано от руки и отправлено по адресу:
P. A. Pertzoff, Esq., 423 W. 120th Street, New York City*

4.

11 ноября 1940

Дорогой Петр Александрович,

Очень буду рад с Вами увидеться. Последние две недели я был особенно загроможден делами; прошу Вас поэтому извинить меня за запоздалый отклик на Ваше милое письмо.

Мой телефонный номер Sc 49270. Возможно ли Вам было бы мне позвонить как-нибудь вечером часов в 9? Если вечером Вам неудобно звонить, я еще бываю дома около 2-х, но это только почти всегда.

⁹ Статья Перцова “Some Errors in Russian in Well-Known Dictionaries” была опубликована в журнале “Modern Language” Notes в 1938 году.

¹⁰ Городок в Вермонте, где Набоковы провели вторую половину лета 1940 года в доме М. Карповича.

¹¹ Скорее всего “Облако, озеро, башня”

С искренним приветом,

В. Набоков

Письмо; написано на машинке.

5.

[Март 1941¹²]

Wellesley College
Wellesley, Massachusetts

Дорогой Петр Александрович,

Только что мне звонил редактор “Atlantic” из Бостона, — “we are enchanted и т.д. this is genius, this is what we have been looking for и т.д. We want to print it at once¹³ и давайте еще”. Хочу вас поблагодарить за вашу прекрасную работу.¹⁴ Я вернусь в начале апреля и если у вас будет время мы сговоримся о следующей работе. Я главным образом доволен что ваш труд не пропал даром. Я завтракаю с этими господами в понедельник и тогда сообщу насчет условий гонорара.

Дружески ваш

В. Набоков

[На полях слева:] Как прошло ваше шахматное состязание?

[На полях справа:] Прилагаю некоторые поправки, включите их в ваш экземпляр.

[На отдельном листке бумаги список поправок к переводу рассказа “Облако, озеро, башня”:]

“thought uttered is a lie”: stuttered p. 2

the yellow bench p. 3

appeared (instead of “would etc.”) p. 4

entirety p. 7, persons p. 9

translated from the Russian by P. A. Pertzoff and the author

Письмо; написано от руки на бланке Уэллсли Колледжа.

¹² В марте 1941 года Набоков провел две недели в Уэллсли, где он читал лекции; во время этого визита он встречался с редакторами журнала “Атлантик Монтли”.

¹³ “Мы в восторге и т.д. это гениально, это то, что мы искали и т.д. Мы хотим сейчас же это опубликовать” (англ.).

¹⁴ Перевод рассказа “Облако, озеро, башня”, опубликованный в журнале “Атлантик Монтли” в июне 1941 г.

6.

25 июля 1941

V. Nabokov 230 Sequoia Ave.
Palo Alto California

Дорогой Петр Александрович,

Большое спасибо за ваше письмо. Ваша идея мне кажется очень хорошей. Постарайтесь это устроить. Книга, которую я бы хотел издать по-русски, — “Дар”¹⁵.

Она должна быть издана в одном томе объемом приблизительно в 500 страниц — это условие принципиально важно — а именно ее нельзя разбивать на два тома.

Итак я настоящим даю вам желаемый вами опцион на “Дар” до 1 ноября 1941. Поскольку эта книга гораздо больше, чем вы предполагали, вам вероятно придется переделать вашу калькуляцию. Кстати, один печатный лист это 16 страниц.

Я еще не получил ответ из “Атлантика” о “Пильграме”, который я туда послал около трех недель назад.

Да, мы будем в Уэллзли¹⁶ в сентябре. И я еще не знаю, заеду ли я в Нью-Йорк по пути туда, и если да, то я буду очень рад вас увидеть.

Передайте мои лучшие пожелания Ярмолинскому¹⁷ и его супруге.

Простите, что печатаю это письмо по-английски. У меня здесь нет русской машинки, а рука затекла от перевода “Шинели”.¹⁸

Надеюсь, что у вас все хорошо. Где вы проводите отпуск?

Ваш очень дружески¹⁹,

В. Набоков

Письмо; написано на машинке.

¹⁵ Роман “Дар” печатался сериально в “Современных записках” в 1937-38 гг. Полный русский текст вышел отдельной книгой в Нью-Йорке в 1952 году; перевод на английский Майкла Скэммела был опубликован в 1963 году.

¹⁶ Во время учебного года 1942-43 Набоков был лектором в резиденции по сравнительному литературоведению в Уэллзли Колледже.

¹⁷ Аврам Ярмолинский (Avrahm Yarmolinsky), заведующий Славянским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки. Его женой была переводчица Бабетт Дойч (Babette Deutsch).

¹⁸ Набокову пришлось перевести на английский несколько произведений русских классиков для курса русской литературы, который он читал в Стэнфордском университете летом 1941 года.

¹⁹ По-русски в английской транслитерации, “droozheski”.

7.

1 августа 1941

230 Sequoia Ave

Дорогой Петр Александрович,

У вас решительно легкая рука. Только что получил от Weeks²⁰ телеграмму, что они with pleasure²¹ принимают “Aurelian”.

Сообщу вам подробности — т.е. гонорар — как только получу дополнительные сведения письмом.

Если у вас есть охота и время, мне кажется можно было бы засесть за перевод “Весны в Фиальте” — на таких же началах и по тому же методу — т.е. для меня главное — получить точный и грамотный перевод, который вероятно потом раздраконю.

Крепко жму вашу руку

Ваш В. Набоков

[P.S.] Я к вам писал на днях относит. “Дара”

Письмо; написано от руки.

8.

8 апреля 1942

Wellesley

Дорогой Петр Александрович,

Посылаю вам окончательный текст “Spring in Fialta”²² с некоторыми моими поправками и изменениями. Пожалуйста перепишите точно в таком виде (например в одном месте нужно Ferd. вместо Ferdinand или в другом “tome” повторяется трижды).

Хочу вас попросить сделать это как можно скорее, так как мне надо успеть передать эту вещь человеку, которого увижу в субботу 18-го. Перепишите пожалуйста с копией и в случае каких-либо ваших замечаний сделайте их карандашом на ней.

Простите, что некоторые поправки вписаны так мелко — особенно кое-какие ввинченные “had” — но в общем кажется разборчиво.

Жму вашу руку

Ваш искренне В. Набоков.

²⁰ Эдвард Уикс (Edward Weeks), в то время редактор журнала “Атлантик Монтли”.

²¹ С удовольствием (англ.).

²² “Весна в Фиальте”

Письмо; написано от руки.

Walleoley

Дорогой Петр Александрович,

Извиняюсь вам относительно текста "Spring in Fialta" и некоторых локал поправками и изменениями. Контракт переписи только в таком виде (написано в одном листе нулево Ferd. или Ferdinand или в другом "тотте" повторение трижды).

Хоту вам попросить сделать что как можно скорее, так как ~~мы~~ нам надо успеть передать эту вещь Геловику, который уезжает в субботу 19 мая. Переписи контракт а копии и в слугат как-нибудь вышлет Зайнштейн. Сделайте или поручаю вам на кей.

Кроме того некоторые поправки в тексте так же, особенно как-какие в английском "had" — но в отделе заметки раздоруто.

Милый вам поцелуй

Ваша искренно М. Каботов

9.

23 марта 1943

Дорогой Петр Александрович,

Благодарю вас за письмо и за милое приглашение. Простите что не отвечал вам тотчас. Я буду рад приехать — и надеюсь, что мы с вами успеем пошахматовать, — последний раз я играл с лейтенантом в Utah²³, который думал долго перед ходом и затем подставлял ферзя, не замечая что стоит под шахом.

Робинсону я уже написал, а письмо к вам отложил, потому что хотел достать из дальнего и темного угла русскую машинку — но раздумал и пишу вам от руки.

²³ Штат Юта.

Жму вашу и “смотрю вперед” повидать вас.²⁴

В. Набоков

Письмо, написанное от руки.

10.

23 апреля 1943

V. Nabokov
8 Craigie Circle
Cambride, Mass.

Дорогой Петр Александрович,

Очень рад Вашим успехам. Что касается алдановского сборника²⁵, то я еще не совсем решил, что дам.

Из России я выехал в 1919 году (из Крыма). Статей было великое множество 1) во всех без исключения русских эмигрантских изданиях, 2) почти во всех парижских, вроде “Нувель Литерер”, “Ле Муа” и т.п., 3) во многих английских и американских (напр., лет пять назад, в Нью Йорк Таймс и Американ Меркюри, в Славоник Ревью и т.д.), не говоря уже о немецких, голландских, чешских, шведских и т.д. Умнее всего, кажется, писал Бицилли²⁶. По правде сказать, я всегда мало прислушивался к отзывам, и поэтому особенно точных сведений у меня нет.

М.пр. “Весну”²⁷ я предлагал в Атлантик, но она оказалась длинна. Впрочем, редактор ее опять выпросил у меня на прочтение. Недавно получил Гугтенгеймовский Феллошип²⁸, т.е. наконец буду иметь возможность написать давно задуманный роман²⁹.

Дружеский привет от меня и от жены.

В. Набоков

Письмо; написано от руки и отправлено по адресу: Mr. P. Pertzov,

²⁴ Дословный обратный перевод английского клише “look forward”.

²⁵ Набоков скорее всего имеет в виду “Новый журнал”, основанный М.Алдановым и М.Цетлиным в 1942 году в Нью Йорке. Набоков печатался в “Новом журнале” в 1940е — 50е годы.

²⁶ Петр Бицилли, видный эмигрантский литературовед и профессор в Софийском университете; среди его публикаций о Набокове наиболее известна статья “Возрождение аллегории”.

²⁷ “Весна в Фиальте”, опубликованная по-английски журналом “Harper’s Bazaar” в 1947 году.

²⁸ Стипендия на год, выдаваемая благотворительным Фондом Гугтенгейма.

²⁹ Роман “Bend Sinister”.

233 Thurston Ave., Ithaca, N.Y., в конверте Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета.

11.

8 июня 1944

V. Nabokov
8 Craigie Circle
Cambridge

Дорогой Петр Александрович,

Пишу вам из больницы, куда попал, отвратительно отравившись в здешнем ресторане. Сегодня мне гораздо лучше.

Хочу вас поблагодарить за ваше очаровательное гостеприимство. Очень было приятно в Корнеле³⁰. Передайте пожалуйста Робинсону, что благодарю его за письмо. Написал бы ему, если бы не был болен.

Жму вашу руку, рокируюсь,

Ваш В. Набоков

*Почтовая открытка; написано от руки и отправлено по адресу:
Mr. P. Pertzov, 223 Thurston Ave. Ithaca, NY.*

³⁰ В 1944 году по приглашению Перцова Набоков ездил в Итаку и выступил с чтением рассказа "A Forgotten Poet" ("Забытый поэт") в Book & Bowl Club Корнельского университета.

ПЕЛЕВИН И ПУСТОТА?! НИЧУТЬ НЕ БЫВАЛО...

Два выступления Виктора Пелевина в Лондоне.

ВИКТОР ПЕЛЕВИН В ЛОНДОНСКОМ КОРОЛЕВСКОМ САДОВОДЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

На первое выступление Виктора Пелевина в Лондоне пришли если не прямо новые русские, то все же те россияне, которые оказались на берегах Темзы после открытия границы; за место в зале Королевского Садоводческого центра они платили.

Пелевин и его британский издатель Tom Birchénouch подкатали к Садоводческому центру на такси — и с самым решительным видом направились не к парадному подъезду, а к припаркованному поодаль причудливому спортивному автомобилю. На осмотр ушло добрых три минуты. Лишь после этого, уже на ступенях Центра, мы разглядели знаменитость.

Каков же оказался писатель? Внешне — в точности таков, каким его рисует молва: этакий головорез, верзила ростом в 186, с короткой стрижкой и намечающейся плешью, с узкоглазым, несколько оплывшим бурятским лицом. Парадные портреты в книжках льстят ему: на них автору 25, на деле же — 36. Мешки под глазами, вздувшиеся вены на не слишком высоком лбу. Одет — подчеркнуто небрежно: брюки спортивного покроя, расстегнутая незамысловатая синяя куртка на молнии (день стоял жаркий), под курткой — темно-синяя футболка. Вид — решительный и несколько хмурый. Столкнувшись с таким на улице, пожалуй, обойдешь его стороной.

В конференц-зале, рассчитанном на 130 мест, свободных стульев не было, хотя и на люстрах не висели. Сразу же выяснилось, что традиционного писательского чтения не будет, а будет вечер вопросов и ответов. Пелевин заговорил — и тут на наших глазах начал складываться другой его портрет. Бандитской внешности — как не бывало. Перед нами был мяг-

кий, улыбчивый, слегка ироничный, широко образованный и думающий человек. Он не рисовался, не становился на котурны, никакой дистанции между собой и аудиторией он не устанавливал, — а вместе с тем каким-то образом был все же выше ее, — и не упускал случая подшутить над спрашивающим. О себе говорил с подчеркнутой скромностью; о писательском труде сказал много верных и точных слов. Одним словом, он был убедителен. Впрочем, судите сами. Вот с чего писатель начал:

На самом деле мне, действительно, по большому счету, сказать совершенно нечего. Так что давайте сразу перейдем к вопросам и ответам.

Ваши книги показывают знание эмигрантской жизни, в них много английских слов и выражений. Вы жили когда-нибудь в Америке или в Англии?

Мне кажется, нет никакой эмигрантской жизни. Сейчас вся Россия эмигрировала, мы все эмигрировали, не сходя с места. Эмигрантскую жизнь можно изучать в Москве. Чтобы стать таксистом, не обязательно ехать в Америку, это можно и в Москве осуществить.

Вы стихи пишете?

Только специально для книг ... Что-то произошло со стихами. В советской жизни они были органичным элементом, а после всех наших реформ куда-то делись. В структуре сегодняшнего культурного пространства нет места для стихов.

Как нужно произносить: *Чанаев и Пустота* или *Чанаев и ПустотА*?

Ненавижу людей, которые распространяют слухи про то, что ударение должно быть на О.

По-моему, в *Чанаеве* вы переходите барьер, переходите из нормальной жизни в ненормальную. До барьера дважды два — четыре, за барьером — сколько надо. Как писалась эта книга?

Вы знаете, я живу в пространстве, где дважды два — и четыре, и сколько надо. Насчет *Чанаева* могу сказать, что когда я его писал, я интенсивно занимался буддийской практикой, много времени каждый день проводил в медитации, и, мне кажется, это хорошо повлияло на книгу.

А что значит П в названии *Generation-П*?

Здесь можно произносить неприличные слова?

Дааааа! [всеобщее оживление].

Это первая буква в словах пепси и п-ц. Поколение П думало, что выбрало пепси, а оказалось, что оно выбрало нечто другое.

А рецепт балтийского чая вы сами придумывали?

Мне казалось, что сам. Единственный культурный источник, который у меня был, — цитата из одного рассказа Алексея Толстого, в котором герой говорит: “В 19-м году япил спирт с кокаином, чтобы не спать”. Потом вышла большая статья Лихачева, в которой он описывал, как революционные матросы вскоре после революции в Петербурге, наглотавшись этого спирта с кокаином, останавливали трамваи и конки, выводили пассажиров и расстреливали всех, у кого не было мозолей на руках.

Что вдохновило вас написать *Чапаева*?

На работу ходить не хотелось... Вообще, вы знаете, вдохновение — это такой интересный вопрос. Был такой писатель Набоков, наверно вы слышали, так он дал прекрасное определение вдохновения. Это была пародия на “три источника и три составные части марксизма”. Он сказал: три источника и три составные части вдохновения — это лень, похоть и тщеславие.... Когда пишешь, главное находишь скорее на ощупь. Я вообще не уверен, что такая вещь, как авторство, существует действительно, потому что я не думаю, что я сам по себе способен что-нибудь написать. Все тексты уже где-то существуют.

А вам не приходило в голову эмигрировать?

А зачем? Сейчас в России гораздо больше Запада, чем на Западе... Разницы для меня никакой. Я достаточно специальный человек, я или дома сижу или на велосипеде катаюсь, и вообще стараюсь отсутствовать. И когда сидишь в комнате, нет большой разницы.

Но обстановка не давит?

Она давит первые три дня после возвращения. Потом привыкаешь. Кстати, в России очень много хороших людей.

Вот вы сказали, что в России намного больше Запада, чем на Западе. А в чем это выражается?

Это выражается в том, что Россия — пародия на Запад. Западное общество у нас начали строить бывшие коммунисты. Они росли в пространстве, где Запад объяснялся как общество абсолютного зла. Когда сверху дали команду строить капитализм, аппаратчики и построили общество абсолютного зла.

Считаете ли вы себя постмодернистом?

В мире сейчас есть три основных направления в постмодернизме. Классическое понимание — это сквозная цитатность, когда текст апеллирует к текстам, написанным раньше. Но в этом нет ничего нового. В Китае такая литература существует уже четыре тысячи лет. Там с детства заучивают классический канон текстов, и высокий литературный стиль отличается от низкого тем, что высокий состоит из цитат. Вторая форма постмодернизма — это когда цитируешь телевидение. А третья, высшая, — это когда ваш агент присылает вам факс с сюжетами...

Насколько серьезно вы к себе относитесь?

Абсолютно несерьезно. Я себя хорошо знаю.

Когда вы пишете, есть ли у вас хоть в мыслях тенденция учить?

Ой, не дай бог!

С вашей точки зрения, какие есть сейчас интересные писатели в России?

Я мало читал писателей. Почему-то думают, что писатель должен быть специалистом по литературе... На самом деле, у меня очень низменные вкусы: мне, например, очень нравятся Стругацкие, которых в России сейчас не ценят.

Нравятся ли вам ваши переводы на английский?

Мне кажется, это хорошие переводы. Я сам их читаю и иной раз могу помочь переводчику с идиомами... Между прочим, в одной из рецензий на *Generation-П* сказано: «Русский язык Пелевина — это бледная калька с английского...»

Мне кажется, что из всех современных писателей ваш русский язык — наиболее ограничен...

По-моему, язык и стиль — это нечто такое, что не должно быть заметно. На что это похоже? Вы смотрите на какой-то

вид за окном. Если окно прозрачное, вы ясно видите, что напротив — дом, дерево, проехала машина, пробежала собачка. Вот это вот и есть хороший стиль, хороший язык, который незаметен. А когда стекло покрыто каким-то лаком, узорами, то ничего не видно, видны только эти узоры на стекле, а это то же самое, что глядеть в стену...

Откуда у вас такой хороший английский язык?

Английский язык у меня чудовищный. Я могу кое-как объясняться... мне легче прочитать лекцию по-английски, чем объясниться с приказчиком в магазине. Но я год работал в Москве на индийское телевидение...

Пришлось ли вам писать в стол?

Нет, в этом смысле я был довольно счастлив. Когда я учился в литературном институте на третьем курсе, меня уже печатали гораздо лучше, чем людей, которые меня учили писать... Писать в стол — интересное занятие. Если бы Булгаков сразу напечатал первую версию *Мастера и Маргариты*, у нас не было бы той книги, которую имеем сейчас.

Есть ли какая-нибудь надежда для России?

Надежда — в том, что никто ничего не знает о будущем. История ничего не может предсказать, она только анализирует прошлое.

А Нострадамус?

Нострадамус достиг совершенства в написании текстов, которые предсказывают все, что угодно.

Что может помочь России?

Странно, но мне кажется, что все будет хорошо... За что я особенно люблю Россию, так это за то, что в ней существовал какой-то ветер внутренней эмиграции. Я не верю в какую-то особенную русскую душу, в особенный русский мистицизм. Ведь это абсурд, когда страна занимается поисками национальной идеи. Она либо есть, и тогда ее не надо искать, либо ее нет, и тогда ее надо заказать бригаде копирайтеров... Я говорил с одним шведом и спросил его: как у вас в Швеции с национальной идеей? — Он пожал плечами и сказал: да никак, просто — люди живут! Российская коммунистическая партия меня ужасает тем, что у них в программе есть глава, которая называется *Смысл жизни*...

Откуда вы берете идеи для своих книг?

В моих книгах нет никаких идей.

Были ли у вас проблемы с прохождением редакции? Просили ли вас изменить содержание?

Нет, слава богу, этого не было. Мне вообще очень повезло с издателем. У нас есть издательство *Вагриус*. Им управляют довольно странные люди. Они делают деньги на видеокассетах, но у них есть какая-то очень необычная для сегодняшней России приверженность к культурным ценностям: они считают, что они обязаны печатать книги, которые им нравятся. Сейчас, слава богу, я им приношу достаточно хорошую прибыль, а раньше, когда все это начиналось, я думаю, что это было с их стороны серьезным риском...

Расскажите о вашей жизни.

В моей жизни нет совершенно ничего интересного. Не о чем рассказывать: никаких ярких событий.

Омон Ра — вещь автобиографическая?

Абсолютно автобиографическая... Я вырос под Москвой в военном городке... Меня поражает, когда говорят, что это книга о советской космической программе. Это книга о том, как человек из ребенка становится взрослым... И *Generation-II* — тоже автобиографична. Я работал копирайтером.

Думали ли вы об экранизации своих произведений?

Некоторые критики считают, что я очень кинематографичен, но кинематограф изображает внешнюю сторону жизни, а литература хороша тем, что это — единственный способ изобразить то, что реально происходит с человеком как психическим существом. Посредством визуального ряда можно только намекнуть на это. Гении кинорежиссуры потому и гении, что в состоянии это сделать. А литература делает это прямо.

В книге *Чапаев и Пустота* есть место, где герои попадают, сами не зная куда. А вы там были?

Я там и до сих пор нахожусь.

Каковы ваши музыкальные предпочтения? Что-нибудь повлияло на ваше творчество?

У меня есть серьезные подозрения, что хорошую музыку перестали писать после 1970 года... Мне кажется, что есть два главных способа слушать музыку. Первый, кото-

рый я нахожу абсолютно ложным, когда музыка существует в записи, когда человек берет кассету с полки, ставит ее в магнитофон и нажимает кнопку, — он, как правило, слышит что-то такое, что он уже слышал, человек пытается воскресить в себе эмоции, которые он испытал, когда он первый раз это слушал. Есть второй способ, я его называю: музыка со столба, когда случайно находишься в некотором пространстве, в баре или в такси, и вдруг, без всякого твоего участия в этом, появляется какая-то песня. Это как раз тот случай, когда музыка способна сделать тебя счастливым и на что-то намекнуть...

Я не про песни, а про серьезную музыку.

Вы считаете, что песня — это несерьезная музыка?

Вы кончили МЭИ [Московский энергетический институт]. Что подтолкнуло вас бросить технику и заняться писательством?

В начале 80-х, когда я был аспирантом в МЭИ, уже было понятно, куда движется Россия... Чем мы там занимались? Есть электродвигатель постоянного тока, он очень дорогой, и есть асинхроник, которым можно управлять через регулятор тока или напряжения, будет такая же характеристика, как у двигателя постоянного тока. В это время в Германии, в Японии, в России велись совершенно одинаковые разработки, они делали регулятор напряжения, мы — регулятор тока, это в принципе то же самое. Но из тех огромных сумм, которые выписывал нам заказчик, большая часть уходила на строительство дачи заведующего кафедрой, а сидели там над проектом два бедных аспиранта, включая меня, и еще один инженер. Вот у нас выходили справочники по микропроцессорам... Кстати, знаете, это дико смешная история, как делались русские микропроцессоры. Они были строго засекречены американцами. Представляете ситуацию: всплывает где-нибудь возле Аргентины наша подводная лодка, высаживаются в какой-нибудь деревушке, всех там косят из автоматов, пижут на стенах *cedere de postra* [пишем со слуха; по-испански это должно означать что-то вроде *сдавайтесь (нам)!*, — Н. О.], чтобы отвести подозрение, захватывают стиральную машину и везут ее в Москву. Здесь вынимают из этой стиральной машины микропроцессоры и начинают микрошлихте-

ром снимать слой за слоем. Потом делалась точно такая же абсолютно микросхема, а характеристики снимались со справочника. Словом, уже тогда было ясно, куда идет эта культура, способ осмысления вещей. Вот что, наверно, и повлияло на мой выбор профессии.

Привьется ли капитализм в России?

Я очень надеюсь.

Что вам больше всего нравится в людях и что вы ненавидите?

Я настолько поглощен тем, что мне не нравится в себе, что ненавидеть других у меня просто сил не остается. Ну, а в людях мне нравится все то, что и вам нравится.

Слышали ли вы обвинения в том, что, в отличие от традиции русской литературы, ваши тексты очень прямолинейные?

Вы знаете, я столько всяких обвинений слышал... Например, такое: что я не случайно, а с тонким расчетом дал главному подлецу романа фамилию будущего председателя Букеровского жюри, — а знал я ее будто бы потому, что только что был в Америке, ведь в эмигрантских кругах эта фамилия была секретом полишинеля.

Вы, наверное, читали многих мистиков. Кто первым произвел на вас впечатление?

Кастанеда, но — не как мистик. Я его воспринимал скорее как поэта.

ПЕЛЕВИН В ЛОНДОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В университете, где писатель выступал на другой день, вход был бесплатный. Собралась лондонская интеллигенция, в значительной степени эмигрантская, а также британцы, интересующиеся русской литературой. Присутствовало человек сорок, в основном — люди немолодые. Открыл вечер профессор Арнолд Макмиллин, славист, хорошо говорящий по-русски. Он сказал, что приветствовать Пелевина в стенах университета — большая честь для него, сообщил, что писатель говорить не любит, чем вызвал веселое оживление в аудитории, а затем объявил вечер вопросов и ответов — и сам задал первый вопрос:

Макмиллин: Все критики считают, что вы — самый яркий пример постмодернизма. Что вы по этому поводу думаете?

Я считаю, что критики просто хотят впечатление произвести и поэтому всякие умные слова употребляют, вот что я думаю... Я пишу книги... Постмодернизм — это слово, которое часто употребляют русские критики, причем я уверен, что 99 % просто не знает, что это такое.

Вы владеете английским языком?

Это мой четвертый язык, но — немножко владею...

А какие первые три языка?

Это русский, русский карманный и русский матерный.

Какое у вас образование?

Я сначала кончил МЭИ, потом я немножко поучился в литературном институте, но вовремя покинул его — еще до того, как это приобрело необратимые последствия.

Учили вас писать?

Нет, вы знаете, в литинституте ведь не учат писать, это обычный гуманитарный вуз, единственно, что там происходит, — это, что вы обсуждаете то, что пишете, и обсуждаете то, что пишут другие. Я бы не сказал, что это — чему-нибудь обучающий процесс. Литинститут хорош тем, что он позволяет действительно сменить профессию: попадаешь в другую среду, обзаводишься знакомствами... Я не думаю, что он чему-нибудь учит.

Каков сейчас ваш рейтинг? Вы — самый известный из новых писателей?

Я могу сказать, что, когда я уезжал, по *Книжному обозрению* моя последняя книжка была номер один в списке бестселлеров... Что касается литературного величия, это меня волнует гораздо меньше...

Маринина фигурирует в этом списке?

Да, но она — в paperback, а я — в hardcover... Нет, ну на самом деле моей книжки продано семьдесят тысяч меньше чем за месяц. Это больше, чем у Доценко... Маринина, она, понимаете, пишет по три книги в год, у нее там всегда лежит 20 книг. Я не знаю, правда это или нет, но вообще ходят слухи, что Маринина — это на самом деле большая бригада людей. Она, кстати, намного лучше, чем остальные производители этого... — чем Доценко, например.

Я прочитал одну ее книгу, и в принципе она мне понравилась.. Я не могу сказать, что она мне понравилась как литература, но это грамотно сделанный детектив, который не вызывает отвращения. Это в России — большой шаг вперед.

Какая из ваших книг вам ближе и дороже всего?

Ну, вы знаете, мне кажется, что все писатели, все музыканты, когда им задают этот вопрос, очень агрессивно говорят, что вот, конечно, мой последний альбом или моя последняя книга — самая лучшая... Но *Generation-II* — это довольно специфическая книга, она очень сильно ограничена своей темой, ее нельзя было сделать другой. Сейчас мне больше всего нравится *Чапаяев*. Мне кажется, что каждому писателю свойственно отвращение к написанному тексту. Когда дописываешь книгу, через некоторое время начинаешь ее стыдиться, — кажется, что это полный позор, безобразие и ужас. И вот я бы сказал, что *Чапаяев* — это не то чтобы моя любимая книга, это книга, которая меня меньше всего достает с этой стороны. Наименее ненавидимая... Не знаю, мне кажется, что она — забавная, что в ней есть пространство, воздух...

Сколько книг вы написали?

Можно сказать так, что у меня есть две книжки рассказов, или, скажем, одна большая книжка рассказов и ... раз, два... и, наверно, три или четыре романа, вот так. В августе у меня должен выйти трехтомник, туда еще не входят рассказы...

Как вы пишете? Каждый день?

Вы знаете, каждый раз по-разному, то есть у меня нет никаких правил, но мне кажется, что лучше всего это делать рано-рано утром, когда народ еще спит, потому что я, действительно, верю в то, что совокупные умственные усилия людей, которые создают этот мир, очень сильно отражаются на вашем состоянии... Скажем, вот в воскресенье, в субботу, в понедельник, во вторник — психическая атмосфера совершенно разная. Некоторые писатели пишут поздно ночью, когда все уже ложатся спать, а мне больше нравится ранее утро, вообще просто нравится просыпаться рано. Ну, а так у меня нет никаких фиксированных правил...

“Пушкинистка”: У меня было несколько знакомых писателей в жизни, они делились на тех, которые любят писать, и на тех, которые всю жизнь преодолевают страх перед бумагой. **Вы любите писать?**

Ну, в общем — да, люблю. Но я не пользуюсь бумагой. Я все время пишу на компьютере, и у меня есть своего рода такой секрет: то есть я сначала пару суток играю в какой-нибудь хороший авиационный “симулятор” и заряжаюсь его позитивной энергией, а потом вот разряжаю в какой-нибудь текст. Это секретная техника...

“Пушкинистка”: А что еще вы любите делать, Виктор, кроме писания и вот игры на “симуляторе”?

Я не готов углубляться в эту тему... Я люблю кататься на велосипеде. Я живу рядом с лесом, он весь изрыт канавами, и я там все время катаюсь... Еще я люблю книжки читать... Ну, фильмы я как-то не очень последнее время...

Кто ваш любимый писатель?

У меня нет такого. Это странное понятие: любимый писатель... Булгаков мне очень нравится, безумно просто... Из современных наших, правда, мало кто, то есть я мало читаю нашу современную литературу... Я люблю, в общем, то, что все нормальные люди любят, и все то, что нормальные люди не любят, я тоже не люблю. Я, к сожалению, ничем не отличаюсь...

Макмиллин: Вы читали роман Сорокина *Норма*?

Нет, господь спас... Сорокин, конечно, выдающийся писатель, мне очень нравятся его рассказы, у меня чувство, что это такой глубоко уязвленный жизнью человек, просто очень сильно оскорбленный... Но его невозможно читать... если прочитаешь три-четыре рассказа, потом все начинает повторяться, один и тот же прием...

Где вы себя видите в смысле писательской родословной?

Вы будете смеяться, но у меня просто нет никакой необходимости видеть себя в контексте...

Юрий Мамлеев говорит, что он сильно на вас повлиял...

Один раз я на него очень сильно повлиял... Когда я учился в литинституте, я очень сильно увлекался, знаете, такими грибочками... mushrooms... И вот я один раз их наелся и пришел на встречу с Мамлеевым, который приехал из Парижа.

Он очень много говорил о христианстве и так далее, а потом — что творчество, мол, совершенно особая область, нельзя считать, что изъявления души, как носительницы религии, имеют какое-нибудь отношение к творчеству, которое является своего рода моторным актом. И я ему задал такой вопрос: не кажется ли он себе похожим на человека, который по ночам выходит на улицу душить прохожих, а днем поет в церковном хоре... Потому что он очень сильно агитировал за христианство, и это было странно, правда, слышать от такого человека... Тогда мы и познакомились. Я тогда только начинал писать. У нас много общих знакомых: все эти московские внутренние эмигранты, вся эта компания с Южинского переулка... Я этим человеком восхищаюсь. Но я не знаю, насколько он на меня повлиял. Если он так говорит, ему виднее.

“Музыковед”: Как вы относитесь к средствам расширения сознания?

А куда его можно расширять? И что такое сознание? ... Если вы про наркотики, то я их не употребляю... и довольно давно, хотя хорошо себе представляю, что это такое. Мне кажется, что лучший расширитель сознания — это трезвый, здоровый образ жизни... Основываюсь на своем опыте. Все остальное сознание только сужает, к сожалению.

Спортом занимаетесь?

Да, конечно. Катаюсь на велосипеде, люблю ходить в бассейн плавать, если есть возможность. Раньше я бегал. Сейчас уже как-то поменьше бегаю. Я бы не сказал, что я очень спортивный человек, к сожалению. Это как раз то, что мне хочется в себе изменить. ... Здоровый образ жизни — это хотя бы когда избегаешь таких нездоровых вещей, как наркотики или как курение, например. Я вот сейчас, к сожалению, опять курить начал, и меня это в себе просто бесит.

Вы крещеный?

Да, по-моему... Я не помню ничего, на самом деле...

Вы всегда будете писать или еще чем-нибудь займетесь?

Вы знаете, я предпочитаю не загадывать, на самом деле... Я думаю, что еще пару-тройку книжек напишу точно, а уж что дальше — тогда и поговорим.

Что вас воодушевляет на книгу?

Жизнь. Ну, раз писатель, значит, надо книги писать...

Кто ваши читатели?

Я бы не сказал, что я ориентируюсь на какую-то target group. Я ориентируюсь прежде всего на текст, который пишу. У меня есть некоторое ощущение от текста, который я пишу, и он должен достигнуть определенного качества. Если он удовлетворяет моему смутному неопределенному критерию, он, как правило, нравится многим людям... В основном меня читает молодежь. Но на книжной ярмарке в Москве, мне рассказывали, что самые разные люди эти книги покупали... старушки, молодежь, снобствующие какие-то персонажи...

Ну, а на встречах с читателями?

У меня не бывает встреч с читателями. Я с читателями встречаюсь, когда человек мою книгу читает...

Большая вещь является вам как целое или, когда вы начинаете, вы не знаете, чем кончите?

На самом деле, когда начинаешь, думаешь, что знаешь, чем кончится, — просто вот в этом уверен, но никогда не удастся дописать ту книгу, которую начал. С рассказами это удастся очень часто, рассказ можно целиком держать и просто заполнить его словами... Я, когда Чапаева писал, я несколько раз видел сон, мне эта книга снилась как некий сферический объект... Я думаю, что это и есть самое интересное в написании длинных вещей: что никогда не знаешь, что именно пишешь, — узнаешь это, только когда ставишь точку.

“Пушкинистка”: Как вы думаете, какую роль ваша книга в состоянии сыграть в жизни людей и общества, к которому вы и эти люди принадлежите?

Какую роль книга может сыграть в жизни абстрактного понятия? — это очень сложный вопрос. Я подхожу к этому гораздо проще: я просто пишу книги. Люди, которые занимаются искусствоведением, литературоведением, они видят мир вот таким образом: они видят мир через систему своих классификаций. Я, слава богу, от этого освобожден... За большие деньги я готов подумать на эту тему.

Но все равно, если книга популярна, то она вызывает какие-то мысли, создает атмосферу...

Это серьезный вопрос, но это — другой вопрос: это вопрос об ответственности. Ответственность, безусловно, существует. Вы знаете, что меня ужасает: я не хочу говорить дурно о других писателях, но вот у нас самый продаваемый писатель в России — Доценко. Он пишет совершенно какие-то чудовищные книги про человека по имени Бешенный. Это человек, который сидел четыре года за изнасилование. Его герой громоздит груды трупов, совершает массу изнасилований... то есть не изнасилований, но на каждой третьей странице происходит черт-те что... и вот этот человек с явно больным умом проецирует этот свой больной ум на все общество. И мне это кажется просто опасным. Ведь это же не проходит просто так — ведь где человек берет свои модели поведения? В книгах, с телевизора. Я литературного героя никогда не убью без крайней необходимости. Я ко всему этому отношусь очень серьезно. И мне кажется, что если ты пишешь книги, которые читает достаточно большое количество людей, то, безусловно, здесь есть очень серьезная моральная ответственность. Тип ума и сознания, который проецируется на других, должен быть достаточно здоровым. Я не навязываю эту точку зрения другим, но для себя это считаю важным.

Вы считаете себя оптимистом?

Я, конечно, считаю себя оптимистом...

Когда вы читаете других писателей, вы постоянно думаете о своем собственном произведении?

Нет, нет, совсем нет... Когда я читаю хорошую книгу, я просто ее читаю. Я не настолько поглощен собой, чтобы о чем-то думать. Хотя бывают странные совпадения. Бывает, напишешь что-нибудь, а потом читаешь какую-нибудь другую книгу и видишь, что если бы ты прочел до того, как сам что-то написал, то, видимо, был бы какой-нибудь другой результат. Поэтому писателю... ну, это опять моя личная точка зрения... ему не стоит читать современников, потому что очень много бывает пересечений, и это может помешать.

“Музыковед”: С литературой ваши отношения, допустим, понятны, — а как с другими, смежными искусствами? Видите ли вы какие-нибудь точки соприкосновения с музыкой, изобразительным искусством, театром, ... кино, — в частности, с

российскими? Есть ли явления в современной российской жизни, которые были бы вам близки и сопоставимы с тем, что вы делаете?

Мне сложно сопоставлять... Ну, меня интересует театр. Мне интересно было бы попробовать что-нибудь сделать для театра или кино, написать специально, потому что, к сожалению, книжки, которые я пишу, они не очень визуальные, особенно поздние, потому что это все насчет русских народных галлюцинаций — приключения одного отдельно взятого ума в полной пустоте. Это сложно снять на пленку. Но если попробовать что-то написать специально, мне кажется, что это могло бы получиться. А так... Я не очень слежу за культурной жизнью. Я нахожусь абсолютно в той же среде, в которой находятся люди, которые не являются профессионалами, не занимаются культурой профессионально.

“Музыковед”: У вас в ваших текстах есть аллюзии на рок-тексты, скажем... Метки ставите?

Вы знаете, я не уверен, что я ставлю метки, я все-таки не волк, который по лесу бежит. Я могу привести какую-нибудь цитату, которая мне кажется подходящей... Вы понимаете... есть два разных типа мышления: аналитический и синтетический. Аналитический тип ума — это когда берется некий объект, распиливается, разрезается, расчленяется, и его отдельные части классифицируются. Это то, чем занимается литературоведение. Творчество — нечто совершенно противоположное, это синтез, это когда из двух атомов водорода возникает один атом гелия, нечто новое. Полная противоположность аналитическому типу ума. И мне сложно заниматься анализом, потому что я занимаюсь чем-то прямо противоположным: синтезом.

“Англичанин”, на ломаном русском: Мне не довелось читать ваши книги. Не перескажете ли какую-нибудь? О чем вы пишете?

Был такой писатель Лев Толстой. Когда его спрашивали, о чем этот ваш роман, он говорил: люди, которые коротко рассказывают, о чем мои книги, гораздо талантливее, чем я, потому что мне, чтобы объяснить, о чем эта книга, — мне надо ее написать от первой страницы до последней. Если кто-то может сделать это короче, значит он, видимо, намного умнее...

“Дама”: Кто с вами находился в детстве? Я тоже творчеством занимаюсь, поэтому мне все о вас интересно...

Да никто не находился... Ну, представляете себе: родители работают, у них много дел, куча проблем, а тут еще такой шныряет под столом. Кто с ним находится? Сам с собой находится.... Ну, короче, я выжил.

Что значит для вас буддизм — только источник художественного приема?

Нет, для меня это не только источник приема, это, на самом деле, практика, которой я занимаюсь. Для меня это, пожалуй, самый интересный аспект моей жизни. Ну, литература — это хорошая психотерапия, да, но буддистская практика — лучшее из всего, что я знаю. Я бы не сказал, что мои книжки — это буддистские книжки, я не пропагандист буддизма, но если вы чем-то занимаетесь сами, что-то практикуете, естественно, возникают какие-то отражения. Этого трудно избежать. Но буддизм, который есть в Чапаеве, — это несерьезный буддизм. Возьмите хотя бы “фронт полного и окончательного освобождения”...

Вы занимаетесь буддизмом или дзен-буддизмом?

Дзен-буддизмом... а что, есть разница?

Говоря о расширении сознания, вы почему-то обошли алкоголь, один из самых главных видов топлива в литературе...

Я разве говорил о расширении сознания? Ну, я считаю, что похмелье — это очень ценное творческое состояние... В дзен-буддизме — не как в других системах, где нельзя пить: там нельзя напиваться. Мне кажется, что если удастся держать себя в этих рамках, в этом нет ничего страшного. Алкоголь, в конце концов, — это естественный химический компонент организма, просто его бывает больше и меньше.

Повлиял ли на вас буддизм Германа Гессе?

Если вы говорите про Сидхартху, которую можно у Германа Гессе хоть как-то соотнести с буддизмом, то это скорее не буддизм, это какая-то индуистская пастораль, буддизма я там не заметил. Я бы сказал, что Гессе, вообще-то, совсем не буддийский писатель. Но он был для меня безумно важен. Степной волк — это книга, которая на меня очень большое влияние оказала. Но это никак не связано с буддизмом.

В каком районе Москвы вы выросли?

Тверской бульвар.

Вы сказали, что вы любите Булгакова. Есть ли другие советские писатели, которые вам важны?

Во-первых, я бы ни в коем случае не называл Булгакова советским писателем. Конечно, все, что делалось в России во время серебряного века и после, до сих пор меня поражает. У меня есть любимый поэт — Блок, и я очень люблю его прозу. Он, к сожалению, оставил мало прозы, пожалуй, один том, — но это человек, с которым я чувствую наибольший резонанс. И вообще весь серебряный век, все писатели, поэты, все то, что там происходило... Вообще мне кажется, что рубеж девятнадцатого и двадцатого веков в России был чрезвычайно интересным временем. Мне очень нравится Белый...

Белый как прозаик или как поэт?

Не как прозаик и не как поэт, а как автор мемуаров, потому что когда он пишет, скажем, Петербург, или Москву под ударом, или Маски, продираться сквозь эти ритмизованные предложения довольно тяжело. Поэт он великий, конечно, но, как все великие поэты, знаете, он написал четыре хороших стихотворения... А вот его книги На рубеже двух столетий и Начало века — это великая литература, хотя он в нее не вкладывал вот этого своего, знаете, такого таланта, — поэтому так хорошо и получилось. Это мои любимые книги.

Записал Никифор Оксеншерна

intername agency

Вы написали книгу. Для себя? Приятного чтения.
Если вы хотите, чтобы ее прочли другие, начните с нас.

Мы будем не только ее первыми читателями, но и подготовим рукопись, разработаем макет, отпечатаем и поможем вам продать ваше произведение.

Тел./факс: 617-964-0834
e-mail: avgur@hotmail.com

мы создаем книги

“ГОРЬКИЙ”: ЛИТЕРАТОР И ПАРОВОЗ

псевдоним и его контекст

Кирилл Кобрин

“наш славный Massimo Gorki...”
(из письма Василия Розанова)

О Максиме Горьком правило сейчас одно — либо плохо, либо никак. О нем забыли все, кроме, пожалуй, многолюдного племени горьковедов, не успевших (или не захотевших) сменить профессию. Присовокупим театральных режиссеров и школьных учителей литературы. Но если сочинения Алеши Пешкова вызывают сейчас в лучшем случае насмешку, а в худшем — полнейшее равнодушие, то имя его, точнее, псевдоним, потянет на ненависть; вот и изгнали его с Тверской и из родного Нижнего Новгорода. Неприкаянным призраком бродит псевдоним Алеши по земле, словно образцово-показательная тень из романтического (или готического) произведения смущает души и умы. Вот и меня смутил, меня, не любителя и не ценителя горьковской прозы, тем паче пьес и виршей. Но не о них пойдет речь. О псевдониме “Горький”.

Иннокентию Анненскому принадлежит неожиданное, даже сенсационное, наблюдение. Вот что он пишет в первой “Книге отражений”: “После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора “Подростка”, который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией. Он испытывал это, например, гнилым, желтым, осенним утром на петербургских улицах”. И дальше, через абзац: “...эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой ду-

ше”. За что цепляется внимательный глаз в цитированном отрывке? За “символиста Достоевского”? За гордое звание “поэта”, данное великим поэтом никакому не поэту? За жизнь, представленную в виде “грязного налета”? Нет. Неоднородность ряда приведенных фамилий — вот что интересно; в окружении Гончарова, Писемского, Островского, Достоевского — фамилий настоящих, дворянских или поповских, неважно, но настоящих, назидательный гомункул “Горький” выглядит социо-культурным отщепенцем, босяком без роду и племени. Но как же он протолкался в первый ряд?

Массовое проталкивание псевдонимов в первые ряды отечественной словесности началось в последней трети 19 века и шло далее по нарастающей: Сологуб, Антон Крайний (журнальный псевдоним Зинаиды Гиппиус), Горький, Скиталец, Андрей Белый, Саша Черный, Ахматова, Муни, наконец, Сирина. Конвейерный характер этот процесс приобрел в СССР в 30-х гг. нашего века, но уже по иным причинам; потому дальнейший период для нашего рассуждения уже не интересен. В чем резоны распространения псевдонимной горячки в Серебряный век, в этот русский *belle époque*? Совершенно разнообразные. Например, нежелание, чтобы путали со знаменитыми родственниками (Набоков — Сирина); или столь естественное для коммерческого периода русской словесности стремление печататься в изданиях разной политической ориентации (Розанов — Варварин); или постыдное неблагозвучие собственной фамилии (Тетерников — Сологуб); или попытка избавиться от фамильного национального контекста, пусть даже неявного (Киссин — Муни, Вилькин — Минский); наконец, неистребимая тяга к литературной интриге, литературной мистификации (Дмитриева — Черубина де Габриак). Но, на второй, более пристальный взгляд, почти везде замечаешь желание авторов “задать тон” восприятия их сочинений самим именем, предшествующим этим сочинениям. Иными словами, псевдоним носил символический характер. Вот с этой-то символикой, применительно к Максиму Горькому, следует разобраться подробней.

Быть может, следовало бы выстроить ряд однотипных

псевдонимов, включающий псевдоним “Горький”, выстроить и посмотреть: в какую “обойму” окажется вписан основоположник пролетарской литературы, попытаться выяснить мотивы (не биографические, а историко-культурные) превращения Пешкова в Горького и тем самым сделать попытку с несколько неожиданной стороны осветить взаимоотношения нашего героя с контекстом эпохи, именуемой “серебряным веком”. Начнем с, казалось бы, самого литературно близкого Горькому псевдонима — Скиталец. Как известно, именно Горький превратил скромного экс-архирейского певчего С.Петрова в романтического Скитальца, даже поселил его у себя и наставлял в писательском ремесле (впрочем, последним Горький был просто одержим. Кого он только не учил писать! Даже Бориса Пастернака. Так, например, в 1915 г. Горький в отредактированном виде напечатал в журнале “Современник” пастернаковский перевод пьесы Клейста “Разбитый кувшин”. Правка была такого свойства, что переводчик своей работы не узнал). Вернемся, однако, к псевдонимам. Скиталец — существительное, обозначающее человека определенного образа жизни. Этот псевдоним Пешков мог бы взять себе сам, так как всю первую половину своей жизни “скитальцем” был именно он. “Подарив” его собственному подмастерью, он как бы “освободился” от обстоятельств и (что очень важно) тем раннего периода. Говоря фрейдистским языком, он “перенес” часть себя (не лучшую, вспомним хотя бы попытку самоубийства) на другого, которого он поддерживал так, как ему хотелось, чтобы его некогда поддержали. Но не поддержали. Недаром его звали Горьким.

“Горький” — прилагательное, обозначающее некое фундаментальное качество, присущее автору. Читатель, открывающий книгу (или просто текст), написанную “Горьким”, уже знал, с чем он столкнется: горький взгляд автора на жизнь, горькая правда, сама жизнь горькая. Псевдоним выступал в роли знака. Дальнейший успех (или неуспех) текста у читателя зависел от того, соответствует ли он (текст) этому знаку; и если соответствует, то насколько. Здесь кроется одно из возможных объяснений большого читательского успеха ранних сочинений Горького в России; тексты

его (почти все) именно соответствовали ожиданиям. Но можно ли сказать, что “Горький” — не знак, а символ, причем не в современном научном смысле, а в том, который придавали ему символисты?

“При чем здесь символисты?”, — можете вы спросить. А вот при чем. Лучший символистский прозаик, один из лучших символистских поэтов, один из двух крупнейших теоретиков русского символизма носил псевдоним Андрей Белый. Как известно, Борис Бугаев стал Андреем Белым в ноябре 1901 г. по предложению своего старшего друга и наставника Михаила Соловьева, сына знаменитого русского историка и брата философа и поэта Владимира Соловьева. Вполне вероятно, что в выборе псевдонима Михаил Соловьев “отталкивался” от уже существующего и знаменитого псевдонима “Горький”. “Белый” должен был противостоять “Горькому”; ослепительная непорочность (“белая”) соловьевской Вечной Женственности должна была противостоять горечи русской жизни, жизни вообще. В “Горьком” видели символ враждебного литературного течения, точнее мировоззрения. Но речь здесь не о так называемом “реализме”, даже “натурализме”. Русский реализм, натурализм в соловьевском кружке попросту не замечали, точно так же, как десять лет спустя Блок замечал какого-нибудь Амфитеатрова или Боборыкина только на литературных обедах. “Горький” был символом иного мирозерцания, иного литературного течения, с которым нарождающийся символизм активно боролся, — декадентства.

Вообще, с русским декадентством Бог знает что происходит. Термин “декадент” получил широкое распространение на волне популярности работ Фридриха Ницше, объявившего всю современную ему западную культуру “декадентской”, т.е. “упадочной”. В более узком смысле “декадентскими” стали называть европейские эстетические течения конца 19 — начала 20 века, а “декадентами” таких литераторов и художников, как Гюйсманс, Метерлинк, Д’Анунцио, Бердсли. Критика (чаще всего, консервативная) вменяла в вину типичному западному “декаденту” следующее: проповедь крайнего эстетизма, аморализм, безразличие к общественным вопросам. Справедлива была эта

критика или нет, нас сейчас не должно интересовать. Важно то, что именно такой образ “декадента” перекочевал в Россию, точнее, в русскую критику и публицистику. Вот что писал в 1896 г. в статье “Декаденты” Василий Розанов: “Именно этот элемент *ultra*, раз замешавшийся в литературу и никогда потом из нее не вытесненный, как результат *ultra* в самой жизни, в ее нравах, в ее идеях, ее влечениях, ее позывах, и сказался в конце концов таким уродливым явлением, как декадентство и символизм. Декадентство — это *ultra* без того, к чему оно относилось бы: это — утрировка без утрируемого; вычурность в форме при исчезнувшем содержании: без рифм, без размера, однако же и без смысла “поэзия” — вот *decadance*”. Между тем, русское декадентство — явление гораздо более сложное, нежели формальное слововерчение. Во-первых, до появления в литературе Блока и Белого (т.е. до 1901-1902 гг.) граница между декадентами и символистами была чрезвычайно зыбкой, что, кстати говоря, чувствуется и в цитированной статье Розанова: “Под именем символизма и декадентства разумеется новый род не столько поэзии, сколько стихотворного искусства...” Декадентами называли и Дмитрия Мережковского с Зинаидой Гиппиус, и группу Валерия Брюсова (Иван Коневский, Александр Добролюбов), и Федора Сологуба, и Константина Бальмонта; т.е. тех, кто позже будет именоваться “символистами”. Позднейшие исследователи относят к декадентам и литераторов старшего поколения — Константина Случевского, Николая Минского, Константина Фофанова и др. А ведь русский символизм — явление почти противоположное русскому декадентству; противоположное идеологически, но не персонально. Русский символизм, например, никогда не был (в противовес декадентству) просто литературным течением. Во-вторых, русское литературное декадентство имело вполне отечественные литературные корни. Это поэзия Фета, Полонского, отчасти Апухтина, как ни странно, Некрасова (метрическое и лексическое влияние) и, конечно, Надсона. Иными словами, перед нами — “младшая ветвь” русской поэзии, ставшая на некоторое время “старшей”; на то самое время, когда формируются литературные вкусы Алеши Пешкова (80-е —

первая пол. 90-х гг.).

В-третьих, русские декаденты были вовсе не чужды общественных вопросов. Общественная деятельность Межрежковских общеизвестна. Бальмонт был политическим эмигрантом. Николай Минский, которого С. Венгеров назвал “отцом русского декадентства”, был просто-напросто революционером: в 1905 г. написал стихотворение “Гимн рабочих”, открывавшееся словами “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” В годы первой русской революции он предоставил свою газету “Новая жизнь” в распоряжение ЦК большевиков; там печатался Ленин (в т.ч. там опубликована статья “Партийная организация и партийная литература”), там печатался и Горький (“Заметки о мещанстве”). С 1906 г. Минский, как и Бальмонт, был политическим эмигрантом.

К такому русскому декадентству (в широком смысле) Горький имел самое прямое отношение; по крайней мере, в 1901 г., т.е. когда Михаил Соловьев изобретал символический псевдоним для юного символиста Бориса Бугаева. Начинал Горький как поэт: еще в 1889 г. он показал Короленко свою поэму в стихах и прозе “Песнь старого дуба”, Короленко раскритиковал ее, и молодой автор, следуя традиции, сжег свой опус. Многие его ранние сочинения также можно было бы обозвать “поэмами в прозе и стихах”, например его “песни” или “Человек”, хотя, строго говоря, это не “стихи”, а “ритмическая проза”. Даже некоторые прозаические куски сильно напоминают такой популярный в декадентских и околодекадентских кругах жанр, как “стихотворение в прозе”. Возьмем начало “Песни о Соколе”: “Море огромное, лениво вздыхающее у берега, уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд”. Ошибется тот, кто скажет, что это банальная графомания. Дело в том, что это, так сказать, “мэйнстрим” русской словесности конца 19 в. Для сравнения приведем отрывок из стихотворения в прозе “Andante” Иннокентия Анненского, автора чрезвычайно близкого к декадентам, к

тому же безупречного с художественной точки зрения: “Июльский день прошел капризно, ветреный и облачный: то и дело, из тучи ли, или с деревьев, срываясь, разлетались щекочущие брызги, и редко-редко небо пронизывало их стальными лучами. Других у него и не было, и только листва все косматилась, взметая матовую изнанку своей гущи”. Цитированные тексты объединяет не только общая интонационная вялость и одержимость штампованными определениями. У них общий источник — “стихотворения в прозе” Тургенева, описательные тургеневские пассажи вообще. В ранних горьковских текстах слышны отголоски приемов и лексики именно той “младшей ветви” русской поэзии, которую продолжали декаденты (и Блок). Так что прав был Виктор Шкловский, писавший в книге “Гамбургский счет”: “Максим Горький пережил несколько резко отдельных друг от друга периодов своего развития. Первый период отличается чрезвычайной лиричностью. В Горьком всегда жил стихотворец. Нужно вспомнить только, как часто люди в его вещах сочиняют или поют песни. Песенная инерция живет за прозаическими словами Горького, она выгибает формы его произведения, как вода, налитая в бумажную коробку, выгибает легкие стенки”. “Песенная инерция” и господствует в большей части русской поэзии конца 19 — нач. 20 вв. от Надсона до Блока. Горький в этой ситуации не посторонний, а полноправный участник.

Ранний Горький был близок русским декадентам и мировоззренчески. Обычно принято указывать на огромное влияние, оказанное на него Ницше (вплоть до формата усов). Влияние Ницше на русскую культуру и общественную мысль конца 19 — нач. 20 вв. было чрезвычайно разнообразным и устойчивым. В конце концов, ницшеанство было в моде, захватившей и большевиков Богданова с Луначарским, и символиста Вяч. Иванова, и беллетриста Арцыбашева. Менее заметным (но не менее глубоким) влиянием на молодого Горького обладала философия Шопенгауэра, провозглашавшая иллюзорность материального мира, видевшая в этом мире лишь воплощение некоей безличной воли. Именно об этом догадался Анненский: “... жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой ду-

ше...”. Анненский ошибался только в одном: эта мировоззренческая позиция характерна не для русского символизма, а для декадентства; Шопенгауэр (к тому же, известный в России в переводах Фета и Страхова — представителей “младшей ветви”) был излюбленным философом русских декадентов, именно декаденты “мыслили жизнь как грязный налет на свободной человеческой душе”. Символистская “теургия” — идея, противоположная декадентской идее мира как видимости, иллюзии, Майи. Так что не зря Михаил Соловьев придумал символистского “Белого” в противовес декадентскому “Горькому”.

Итак, у нас выстраивается следующий ряд: Горький, Антон Крайний (в подражание и публицистическое заострение “Горького”), Андрей Белый (в противовес “Горькому”), Саша Черный (язвительная насмешка над символизмом “Белым”, сигнал о возвращении к неким традициям “Горького”. Но “Горький” подразумевался уже иной: в своей социально-критической ипостаси). Позже, с изменением социо-культурного контекста в стране, смысл псевдонима “Горький” стал меняться, а после революции приобрел совершенно неожиданный оттенок. Закончу свое рассуждение отрывком из воспоминаний Владислава Ходасевича: “Среди бесчисленных бумажек с печатями и подписями, которыми я запасаю, отправляясь в путешествие, была одна, подписанная Максимом Горьким. В ней было сказано, что всякому начальству рекомендуется оказывать мне всяческое содействие, так как я весьма вообще замечательный человек. В Петербурге такие бумаги имели довольно большую силу. Во Пскове подпись Горького тоже мне помогла, но совсем неожиданным образом. Чекистов, как сказано, было двое. Один — помоложе, худой, обозленный. Другой — постарше, веселый и смешливый парень. Увидав подпись Горького, они мне объявили, что бумага подложная, а я дурак, потому что Максим Горький — не человек, а поезд, а человек такой если и был когда, так давно уже помер.”

ВИНОХРАНИТЕЛЬ

СТИХИ
из неопубликованного

Олег Григорьев

Этой весной в канун очередной годовщины со дня смерти поэта Олега Григорьева (он скончался 30 апреля 1992 года) в петербургском музее Анны Ахматовой открылась выставка художника Олега Григорьева.

Прекрасный рисовальщик, изгнанный в начале шестидесятых из СХШ при Академии художеств, не отстоявший, по его собственным словам, себя как живописца, Олег Григорьев стал поэтом — может быть, самым значительным поэтом русского андеграунда. При жизни у него вышло всего три книги стихов для детей, но и те принесли ему широкую известность, подогретую идиотскими нападками на него советских литературных чиновников. Книги, вышедшие после его смерти, уже определили место Григорьева в ряду самых ярких имен русской поэзии шестидесятых-восьмидесятых годов.

Небольшая выставка в музее Ахматовой — кажется, первая официальная выставка рисунков Григорьева, не считая домашних и полудомашних экспозиций на Пушкинской, 10, в центре питерского неформального искусства, — замечательным образом подтвердила его творческий почерк и особую стилистику. Больше всего Григорьев любил рисовать предметы быта — рядовые, обезличенные: кухонную утварь, рабочую разношенную обувь, будничную одежду, грубо сколоченную мебель. А также насекомых, птиц, животных, и многочисленные детские и взрослые фигурки, такие же обезличенные, лежащие вповалку или бегущие куда-то в никуда за край желтого, оборванного листа.

Все эти рисунки оживают в его стихах, где нельзя провести границу между детским и взрослым миром, но ощущаешь себя в состоянии какой-то вечной подростковости; где

всё постоянно превращается друг в друга и в свою противоположность; где простодушный примитивистский взгляд художника дотошно вычленяет, что, как, каким образом сделано и устроено. Многие его стихи превращаются в перечни — деталей, рецептов, фигур, движений, параграфов, школярских выходов, пьяных разборок, рабочих операций:

Зацепка,
Подъемка,
Забой,
Обескровка,
Обвалка,
Опалка,
Мездренья,
Нутровка,
Заделка,
Обрубка,
Посол,
Обрезанье,
Жировка,
Жиловка,
Отстой,
Кишкованье.

Стихи Григорьева можно назвать высокой поэзией низкого быта. Он превращает низовую эстетику советской реальности в литературный факт.

Это видно и по тем стихам, которые не входили в его книги и публикуются нынче впервые — разве что “Винохранитель”, посвященный лучшему, пожалуй, иллюстратору стихов Григорьева, художнику Александру Флоренскому, прежде печатался с разночтениями в микротиражной газете Митьков.

Поэтический примитивизм Олега Григорьева — многозначный символ той русской жизни, которая, выветриваясь, как мозаика, тем не менее навсегда остается даже в осколках, штрихах, контурах, пятнах, обрывках фраз, фрагментах слов, отзвуках рифм.

ДРУГ

Работы нет и денег нет.
Пошел я к другу на обед.
Три раза я звонил в звонок —
Затмился наконец глазок.
Собой глазок он заслонил,
Но дверь не отворил.
Потом глазок открылся,
И шорох удалился.
Прекрасный выдался денек.
Жаль, на двери его глазок.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СТОЛУ

Чтоб у поросеночка
Образовалась корочка,
Следите, чтоб в жаровне
Пылали угли ровно.
У корочки такой же хруст,
Как если лезем через куст.
Иду на завтрак к маме
В венке из сельдерея,
Несу тетрадь с стихами
Вдоль парка по аллее.
А солнце светит ярко
И вам. и нам, и им...
Шипит в шкафу пулярка
Под соусом грибным...
Большой кусок корейки
Согреть на полотне,
А раковые шейки
Пусть варятся в вине.
Потроха гусиные
Протрите через сито.
Для полноты картины
В них сливки влейте взбитые.

Подайте в блюде низком
Белугу во фритюре,
Колбаски и сосиски
К горячему пюре.
В сметане корнишоны
К пюре подайте тоже
С кусочками лимона
Без косточек и кожи...

СИГНАЛ

Точка отсчета мира —
Это наша квартира.
Для связи с иными мирами
Прибор мы построили сами.
Сигналы в межзвездной среде
Мы ловим в сковороде.
Выудили из потока
Два мощных магнитных истока.
В наш уловитель попал
Сверхразумный сигнал.
От Эпсилон Эридана
Рычат нам прямо из крана.
Видно, этот народ
Ушел далеко вперед.
Ведь гении сверхвозможности
В простоте, а не в сложности.

* * *

Грохотало могущество природы.
На город шлепалась вода.
В подворотнях толпились народы
И говорили:
— Вот это да!
— Я покупаюсь немножко! —

Сказал Петя, выныривая в окошко.
 – Ни с места! –
 Сказала мама, вытягивая руки из теста.
 Петя повис на карнизе вверх ногами.
 Тесто тянулось за мамиными руками.
 – Ой!
 – Что значит твое – ой?
 – Я вишу вниз головой!
 – Ай!
 – Что значит твое – ай?
 – Скорее меня спасай!
 – Ответь, почему ты не был в школе, Петя?
 – Мне в школу помешал пойти ветер.
 Он принесся откуда-то с луга
 И напомнил мне о скором лете.
 Но если я сейчас упаду,
 То и завтра в школу не пойду.

ВИНОХРАНИТЕЛЬ

А.Флоренскому

I

Осыпался берег оврага
 И родник заглушил,
 Из него вытекала брага,
 Я несколько приуныл.
 “Учусь в известном училище”, –
 Пишу я в письмах родителям.
 Сам же в винохранилище
 Устроился винохранителем.
 Разве моя вина,
 Что я ненавижу зубренья,
 А чудо рожденья вина
 Питает мое ВДОХНОВЕНЬЕ.

II

Виноградный праздник РТВЕЛИ,
Вкус вина, букет и цвет
Славил мудрый РУСТАВЕЛИ...
Винодел – вина поэт!
Бочка – бондарный сосуд,
Через шланг вино сосут.
Мы хотели
Ркацители,
Нам подали
Цинандали.
Целый час мы так сидели
И от скуки поседели.
Цинандали мы вернули.
Принесли Напаринули.
А его мы не желали,
Так же как и Цинандали.
Наконец-то РКАЦИТЕЛИ!
А мы пить уж расхотели.
Унесите, нам не надо,
Мы наелись винограда.
Бочка – бондарный сосуд,
За задержку морду бьют.

III

Я глаза тебе повязкой
Туго-натуго закрою,
По одной фактуре вязкой
Отгадай – вино какое?
Если сразу отгадаешь
Сорт и место винограда,
Рог себе ты наполнишь
Тем вином, которым надо.
Алазанская долина –
Это солнечные вина:

Ахмета, Напариули,
Телави, Киндзмараули...

IV

Голопопых ГОЛОПУПОВ
Запустили в чан с лозой.
Из-под пяток сок шипучий
Брызнул сладкою слезой.
По латкам стекает сам
Терпкий сок вакхический,
По бочонкам, по мехам
И в кувшин конический.
Вся семья в сосуде том
Может искупаться,
Он зарыт в земле концом,
Чтоб не расплескаться:
При обнажении,
При охлаждении,
Землетрясении
И разрушении,
И РКАЦИТЕЛИ,
И САПЕРАВИ,
И ЦИНАНДАЛИ,
Ну, и так далее...

*Предисловие и публикация
Михаила Яснова*

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

Антон Долин

РУССКИЕ НА КРУАЗЕТТ

К лету активизировалась кинофестивальная жизнь, и в очередной раз представители упаднического, но исторически великого, российского “самого главного из искусств” вступили в бой за престижные награды. Главный фестиваль западного мира: Канны. Ни “оскарской” политкорректности, ни компромиссности, свойственной фестивалям поменьше, — суровый суд культуры над теми, кто отважился вступить в соревнование. Судьба России в Каннах весьма специфична: очень редкие призы, но практически всегда — истерический интерес прессы и гостей. Несколько лет подряд свои фильмы представлял один из наиболее оригинальных молодых режиссеров — Алексей Балабанов (“Замок”, “Брат”, “Про уродов и людей”), ни разу, увы, не удостоенный даже поощрительной награды. Год назад — Алексей Герман, харизматическая и таинственная фигура, чьи работы можно сосчитать по пальцам одной руки. Герман представлял свою новую работу “Хрусталеv, машину!”. Триумфа тоже не было. Канны, ожидавшие чего-нибудь вселенского, слегка сдобренного национальной спецификой, оказались не готовыми увидеть мрачную и тягучую полудокументальную ленту о последних минутах жизни Сталина; в финале аплодисменты смешались со свистом.

Однако Россия упорно продолжала гнуть свою линию: на сей раз еще более спорный и странный режиссер, Александр Сокуров, представил во дворце Круазетт “Молоха”. Сокуров — общепризнанный наследник традиций Андрея Тарковского, минималист, основатель “молчаливого кино”. В “Молохе” режиссер вместе со своим постоянным соавтором, поэтом и сценаристом Юрием Арабовым создал более чем необычную историю, посвященную одному дню

любви Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер в зените славы — 42-й год; на сутки он приезжает на загородную дачу, в затерянный в горах альпийский замок, отдохнуть и развеяться. С ним только самые верные соратники: Гиммлер с супругой и Мартин Борман. А в замке его ждет Ева, прекрасная и молодая возлюбленная. И хотя Гитлер — чудовище, а Ева — само совершенство, это не мешает им любить друг друга. Тема фильма проста: любовь и смерть.

Сила любви преображает действительность: Ева заявляет, что не знает, где и с кем идет война. “Освенцим? Где это?” — вторит ей Адольф, забывший о реальности. Фильм Сокурова ни в малейшей степени не оправдывает фюрера: он предстает параноиком, истериком, который страшится всего — от новорожденных щенков до собственных экскрементов. Кстати, чуть ли не в первый раз в картине Сокурова становится крайне важным актерское воплощение образов (Гитлер — Леонид Мозговой, Ева — Елена Руфанова).

Ева — воплощение страсти, и страсть эта — любовь к стареющему, больному и мнительному Гитлеру. Мотивы отсутствуют — их и не может быть; нет и физиологии — она в подтексте, как и полагается в “классическом” искусстве. Никакого эпатажа — экран заполнен медитативными попытками проникнуть в сущность любви, того, что способно связать два человеческих существа. Под стать теме и оформление художественного пространства: смазанный цвет, легкая дымка, туман, как во сне.

Кстати, в специальной программе фестиваля-99 “Синифонд” была и другая работа, посвященная Гитлеру. “Левша” Юрия Кузина, дипломная короткометражка молодого ВГИКовца, рассказывает о детстве фюрера, о рождении Гитлера в Гитлере: гротескные учителя и родители заставляют мальчика, левшу от рождения, писать и работать “правильной” рукой. Результат наглядно показан в “Молохе”...

Если сокуровская манера — замедленное построение “картины в кадре” — вызвала почти благоговение у каннской публики, то сюжет показался претенциозным, а сам фильм — скучным.

Между тем, “Молох” стал одним из четырех фильмов,

получивших “основные” награды: мастер провокации Дэвид Кроненберг под свист публики вручил создателям картины приз за лучший сценарий. Канн-99 стали фестивалем скандальным: финальный вердикт жюри на 100% расходился с прогнозами критиков. Под стать этому был и мини-скандал, инициированный Сокуровым: мастер не остался на церемонию закрытия, и приз получал продюсер картины Виктор Сергеев, на плохом английском извинявшийся за непонятого гения из далекой страны.

Непоявление Сокурова на каннской раздаче слонов стало лишь прелюдией к главному скандалу крупнейшего российского фестиваля, “Кинотавра”. “Молоху” был присужден Гран-при, но поскольку этот приз (как и в Каннах, кстати) – второй по величине, режиссер от него отказался, вновь сделав своим рупором злополучного продюсера. Причиной демарша стало то, что первая награда досталась неблизкому Сокурову “Блокпосту” Александра Рогожкина, более известного по лубочным постсоветским “Особенностям национальной охоты” и, соответственно, “рыбалки”. Житейская картина о быте российских солдат в Чечне; фильм, в котором пропаганда толерантности причудливо переплетается с любовью к батальным сценам; интеллект Сокуров не захотел становиться на ту же лестницу, что и Рогожкин – тем более, ступенью ниже. Забавно, что были на “Кинотавре” и даже заслужили те или иные награды картины более тенденциозные: например, новый фильм создателя “Места встречи...” Станислава Говорухина, ныне одного из наиболее жестких лидеров парламентской оппозиции, “Ворошиловский стрелок”. Исполнитель главной роли в “Стрелке” Михаил Ульянов получил приз за лучшую мужскую роль. Дедушка – Ульянов мстит за поруганную честь изнасилованной внучки, расправляясь поступательно со всеми злодеями, олицетворяющими порочное современное общество: бизнесменами, иноземцами и развращенной “больно умной” молодежью.

На обоих фестивалях – и в Каннах и на “Кинотавре” самый амбициозный проект последних лет – “Сибирский цирюльник” Никиты Михалкова – был представлен вне конкурса. Каннский скептицизм в отношении михалковской

эпопеи был щедро возмещен кинотавровскими восторгами. Впрочем, и в Каннах Никиту Сергеевича почитают: его фильм открывал фестиваль, а французский прокат “Цирюльника” уже сейчас принес немыслимые для российской картины деньги.

Побывали в Каннах и другие, помимо Сокурова, Михалкова и Кузина, русские. Российские актрисы, никому не известные на родине, стали главными героинями двух фильмов официальной программы – конкурсной “Полю Икс” французского кумира Леоса Каракса и внеконкурсной швейцарской “Березины”. Остается упомянуть о новой картине Отара Иоселиани, ныне – заслуженного работника французского кино. Она называется “Прощай, земная твердь” и противопоставляет историческим страстям “Цирюльника” и “Молоха” абсолютно традиционную, но тем более милую сердцу истосковавшегося западного зрителя интимную интонацию грузинского кино: притча о тщете всего сущего, о конформизме юности и бунте стариков. Единственный “русский” знак фильма – монструозные и трогательные то ли туристы, то ли беженцы из России, потерянные посреди огромного и благополучного Парижа.

СЛОВЕСНЫЙ ЛАБИРИНТ

Последние годы литература настолько бедна событиями, и так редко появляется на свет нечто, способное значительно повлиять на вялотекущий культурный процесс, что оглавление любого, даже самого уважаемого “толстого” журнала может только обескуражить читателя: создается впечатление обломков чего-то неуловимого, исчезнувшего, а может, и не существовавшего никогда. От одного до полутора читаемых текстов – максимум; интереснее всего идут книжные рецензии и полемика, даже если не знаешь первоисточника... Нет авторов, нет направлений, нет манифестов, нет провокаций, нет закономерностей; поэтому нет рубрик и преимственности в политике литературных журналов. Тем интереснее подчас удачные, хотя и отчаянные попытки обобщения каких-либо культурных тенденций на

журнальных страницах; одну из них предприняла “Иностранная литература”.

Рубрика “литературный гид” майского номера “Иностранной литературы” посвящена проблеме “исчезающего текста” и включает в себя несколько знаменательных текстов: а) роман шведского прозаика Петера Корнеля “Пути к раю” — подзаголовок “комментарии к утраченной рукописи”; б) предисловие к этому роману Милорада Павича, который в коротеньком непритязательном тексте признается в любви к собрату по перу; в) предисловие к рубрике (следите внимательно — это уже комментарий к комментарию к комментариям) Алексея Михеева, ответственного секретаря журнала; г) статью Евгения Попова “Отсутствие отсутствия”; д) работу Михаила Эпштейна “Книга, ждущая авторов”.

Что остается наиболее любопытным в этой кажущейся неразберихе — это отсутствие изначального текста. Если публикация (Эпштейн) или написание (Михеев, Павич, Попов) большинства собранных здесь “произведений” вызваны книгой Корнеля, то она сама является вполне каноническим комментарием с грамотными ссылками и параллелями к таинственной основной рукописи, содержание которой можно лишь приблизительно угадать, не более.

Комментарии выстраиваются в свою, независимую линию с конкретной интригой, сквозными темами, подводными течениями. Идея — простая до гениальности и как нельзя лучше отвечающая эстетике современного искусства: зачем изощряться в поисках жанра, если уже существует самоценный жанр, который изначально предполагает необходимость прямого цитирования, культурного диалога, иронической дистанции между автором и критиком. Если у кого-то возникают сомнения в самостоятельности жанра комментария, достаточно вспомнить Лотмановские или Набоковские комментарии к “Евгению Онегину”.

Тема романа — лабиринт, его устройство и “способы прохождения”. От первого лабиринта, построенного Дедалом и пройденного Тесеем; к лабиринтам средневековых церквей; к литературным лабиринтам Борхеса. В связи с этим возникает и архитектурный мотив: храм Соломона и изобретения Малевича соединяются в комментариях Кор-

неля. А пути к Храму и божественному Квадрату-Кубу и становятся сюжетом “Путей к раю”. Ибо недостижимый центр лабиринта — это и есть рай, дорога к которому лежит через таинства крестовых походов, загадки тамплиеров и розенкрейцеров, мистические прозрения Жерара де Нерваля, поиски Зигмунда Фрейда и Ролана Барта; место встречи — литературный комментарий.

Значение темы комментария для современной российской культуры трудно переоценить, поэтому публикация текста Корнеля в “Иностранке” — знаковый факт. Он становится своего рода отсутствующим центром для нескольких уже не переводных текстов, окружающих его. Алексей Михеев сравнивает “Пути к раю” со знаменитым “Бесконечным тупиком” Дмитрия Галковского, монументальным задумчиво-философичным комментарийным трудом и с недавно опубликованной “Подлинной историей “зеленых музыкантов”” Евгения Попова, в которых пятьдесят страниц основного текста дополнены тремястами страницами комментариев. В обоих случаях первоисточник утрачивает свою значимость и тонет в уточнениях, медитациях “на тему и вокруг”. Таким образом, разбирая разные типы “комментарийно-художественного” письма, Михеев утверждает саму возможность строить литературное произведение подобным образом. Комментарий — жанр научный и почти точный — становится не меньшей фантазмагорией, чем “выдуманные” жанры автора предисловия к роману, Милорада Павича: “роман-кроссворд” или “роман-лексикон”. Тему продолжает и сам Евгений Попов, который в эссе “Отсутствие отсутствия” делит все книги на существующие, исчезающие и исчезнувшие. А подробнее о том, что имеется в виду, можно узнать уже из статей Михаила Эпштейна “Книга, ждущая авторов” и Яна Гондовича “Химеры на страницах книг”. Первая, написанная известным российско-американским культурологом и филологом, рассказывает об идеальном виртуальном проекте — Книге Книг (более всего похожей на ненаписанную Книгу Малларме, которой посвящено немало страниц “Путей к раю”), а вторая — о книге поляка Павла Дунина-Вонсовоца, составившего “призрачную библиотеку” книг, “которых никогда не было”: в их числе

труды Сэмюэла Пиквика, Йоаннеса Даубманнуса, Бориса Годунова-Чердынцева и безымянного Мастера.

ПУШКИН

Пушкинские дни прошли, но тяжелое похмелье, заставляющее любого россиянина ежиться при звуках до отвращения знакомых стихов, продолжается по сей день. Лидером празднества выступила Москва. Вопреки утверждениям политиков о том, что Пушкин — достояние как минимум всей России. а на самом деле — всего мира, именно Юрий Лужков, которому необходимо укреплять свой имидж идеального мэра и одновременно продвигаться в президенты, взял на себя основные усилия по организации торжеств. Благо у московских властей есть уже опыт 850-тилетия столицы, 50-летия Победы и других подобных празднеств. Итак: что принес Москве праздник в честь Пушкина?

Нового идола. Устроенное Лужковым превосходило самые смелые прогнозы автора пророческого фильма “Бакенбарды” Юрия Мамина. На каждом столбе висели сомнительные “рекламно-пушкинские” плакаты и афиши, на каждой стене — цитаты из Пушкина, от бессмысленных типа “Бочка по морю плывет” и вплоть до строк, вообще написанных Лермонтовым и Некрасовым. В городе появилось немыслимое количество новых мемориальных досок “в этом доме, возможно, останавливался Пушкин” и несколько памятников. На двух из них, наиболее центральных и показательных, А.С., неизвестно почему, изображен вместе с Натальей Николаевной: фонтан на Никитских воротах, где счастливые супруги поглядывают на церковь, в которой когда-то венчались, и монумент напротив дома поэта на Арбате. Здесь Александр и Натали более всего напоминают рабочего и колхозницу, только более остолбеневших, неестественных, устремленных в неизвестном направлении.

Кич не делает различия в жанрах. Мировая премьера (понятное дело, в кинотеатре “Пушкинский” — экс-”России”) английской кинокартины “Онегин” пришлось очень

кстати. Ее создатели – сыгравший главную роль и спродюсировавший фильм Рэйф Файнс (брат “влюбленного Шекспира” и звезда “Списка Шиндлера”) и его сестра Марта, выступившая в роли режиссера, решили представить на суд зрителей вольную интерпретацию романа в стихах: сюжет был передан полностью, но без сохранения поэтического рассказа. В получившейся простенькой и милой мелодраме Татьяну Ларину сыграла ныне суперпопулярная на Западе Лив Тайлер (ранее сиявшая в “Армагеддоне” и “Ускользающей красоте”). Вот так Пушкин и выбирается из российских на мировые просторы. Только, кажется мне, что лучше бы ему сидеть на месте.

НОВЫЙ ИМИДЖ

И напоследок – несколько слов о музыке. Разомлевшим от безумной жары и бесконечного косовского кризиса жителям обеих столиц свои новые произведения – “к открытию дачного сезона” – преподнесли некоторые кумиры. Филипп Киркоров сделал неожиданный шаг: выпустив сборник лучших песен всего-то на четырех компакт-дисках, он внезапно выступил в новом амплуа. Долгое время российское МТВ крутило заставку с пауками, вампирами и змеями, призывая зрителей угадать – чья эта песня. И затем бомба взорвалась: новый клип оказался произведением Филиппа “Bat”, а по-русски – “Мышь”, в котором всенародный женский любимец занял отсутствующую на нашей эстраде нишу “самого страшного и отвратительного”. Мрачная альтернативная мелодия, заунывно-многозначительный текст и сам красавец Филипп с черными развевающимися волосами и желтыми глазами. Увы, по-настоящему никто не испугался. Хотя, наверное, и в этом есть хорошая сторона: например, мой четырехлетний брат, фанат Бэтмена, от клипа в восторге.

Выпустил свой первый и пока единственный альбом и один из наиболее одиозных политиков – Владимир Жириновский. Безразличный к принципам и занятый исключительно распространением на окружающих своей ха-

ризмы, Жириновский своими собственными усилиями написал и спел несколько песен, назвав итоговое произведение “Настоящий полковник” (что имеется в виду — неразрешимая загадка). Альбом — странная смесь безудержной степной удали, проникновенной фольклорной лирики, лихих молодежных мотивов и невыдуманной боли за погибающую Россию.

Правда, ни Киркоров, ни Жириновский народ не заинтересовали. Сейчас в музыкальных магазинах на повестке дня другие хиты: региональные гении, заслоняющие одной своей тенью столичных любимцев. Последний писк моды — молодая певица из Уфы Земфира, вытащенная из небытия продюсерами группы “Мумий Тролль” и записавшая дебютный диск в Лондоне. Сентиментальная и пронзительная интонация, на удивительно примитивном уровне рубящая узлы молодежных страстей. Вне времени и политики, против общих ожиданий: новый гимн — “Ариведерчи”. А чего еще ждать в конце века?

СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

КАТИ БЕССМЕРТНОЙ

В программе:

рисунок, графика, акварель,
пастель, иллюстрации к
любимым книгам и
изготовление книг с детскими
рисунками, роспись ткани,
создание кукол для кукольного
театра, знакомство с мировой
изобразительной культурой.

*Ваши дети талантливы.
Дайте им возможность
реализовать себя.*

Тел.: 617-630-5633.

**E-mail:
men@mediaone.net**

АМЕРИКА ПО-РУССКИ

Борис Локшин

В начале июня в Бруклинской Музыкальной Академии труппа Шведского Королевского Драматического Театра играла пьесу Пера Энквиста “The Phantom Carriage” в постановке Ингмара Бергмана. К этому событию приурочена статья Джона Лара в “Нью-Йоркере” — “Демон-Любовник”. Черно-белый портрет на журнальном развороте выглядит настолько “по-мефистофельски”, что граничит с шуткой или пародией. “Я всегда умел пристегивать своих демонов к повозке”, — писал режиссер в 1990 году.

Статья Лара — это чистый образчик того популярного журнально-газетного жанра, который можно бы было условно назвать “портрет гения с элементами психоанализа”. В ней интересна не концепция, а использованный материал. Не портрет, а штрихи к портрету.

“Наш сын родился утром 14 июля. У него немедленно поднялась высокая температура и начался сильный понос. Он похож на маленький скелет с большим красным носом. Он упрямо отказывается открыть глаза. Через несколько дней у меня пропало молоко. Его спешно крестили прямо в госпитале и назвали Эрнст Ингмар. Я лежу здесь беспомощная и несчастная. Иногда, когда я одна,— я плачу. Если мальчик умрет, я смогу вернуться к своей профессии”. — Это отрывок из дневника матери режиссера, Карин Бергман, 1918 года.

“Ребенок был болен. Он плакал день и ночь, не переставая, я ненавидела его плач, я боялась и мучилась угрызениями совести. В этом маленьком теле было столько невыносимой, бешеной любви к матери. Я оборонялась, я отчаянно защищалась, потому что не могла ответить на эту любовь... “ — цитата из монолога героини фильма Бергмана “Персона”.

“Совсем еще маленьким я старался понять, как добиться от матери тепла. С пяти лет я начал учиться читать у нее в душе... Потом это распространилось на окружающих...” — вспоминает Бергман.

Демоны из детства преследуют художника. Свою неудовлетворенную потребность в родительской любви он преобразует в великое искусство. Так ли?

“Я сам себе Бог, я творю собственных ангелов и демонов”, — говорит один из бергмановских персонажей.

Демоны, а правильнее по-русски — бесы, из одноименного стихотворения вспоминаются английскому актеру Ральфу Файнсу, едущему ночным поездом из Москвы в Псков, по дороге в Михайловское. Файнс сыграл главную роль в английском фильме “Евгений Онегин”, премьера которого состоялась в Москве незадолго до Пушкинского юбилея. О съемках фильма и своих отношениях с “нашим всем” актер пишет в “Нью-Йоркере” в довольно-таки трогательной статье “Снимая Пушкина”. Статья носит странный подзаголовок: “актер отправился на поиски привидения русского писателя”. Никаких привидений Файнс не встретил, и ответов на мучившие его вопросы тоже не нашел. Как объяснить современной публике, почему герои романа ведут себя столь странным образом: пишут любовные письма после первого же знакомства, почему зря застреливают лучших друзей, безосновательно отказывают в половой близости любимому человеку. Самим Пушкиным Ральф прямо-таки очарован, хотя иногда и путает автора с его персонажами. Он с восхищением рассказывает о том, как во время одной из своих многочисленных дуэлей Пушкин непринужденно ел черешню прямо под дулом пистолета своего противника. Сфотографировавшись на Скамейке Татьяны в Тригорском, актер испытывает некое загадочное состояние, которое называет “моментом невинности”. Что же касается самого фильма, то московский критик В. Курицын пишет, что “там много красивых тихих картинок, и Ленский в лесу поет в шубе, а Онегин ему над ухом палит в шутку, и Татьяна в последних кадрах ревет вдребезг, что хочет отдаться Онегину, но не может, и еще на коньках катаются прямо по питерским каналам”. Еще в этом кино Ольга и Ленский дуэтом исполняют песню “Ой цветет калина в поле у ручья” из кинофильма “Кубанские казаки”, и, по словам того же Курицына, “пластикой Файнс-актер напоминает Березовского”. Сценарий к фильму написал извест-

ный журналист Майкл Игнатъефф. Его перу принадлежит также большая статья в том же журнале под названием “Балканская Физика”. Статья была написана в самый разгар бомбежек Югославии. Сын американского дипломата Игнатъефф в детстве жил в Югославии, ходил в белградскую школу. Искренний и горячий сторонник натовского вмешательства, он тщетно пытается объясниться со своими друзьям в Сербии, которые “ощущают себя жертвами Запада, чьи идеалы они считали своими собственными”.

“Я понимаю механизмы сумасшествия с моей стороны, но понимаете ли вы механизмы сумасшествия с вашей? — спросил меня один из моих друзей. Пытаясь сохранять хладнокровие, я объяснил ему, как выглядит депортация целого народа, развернувшаяся перед моими глазами. Я говорил, что картина страшнее той, которую он видит по CNN... Я растолковывал по телефону другому сербскому приятелю, что коллективной вины не бывает и что нельзя считать всех сербов ответственными... Мой друг холодно молчал. После того как я описал лагерь беженцев, я услышал от еще одной приятельницы, что ее четырехлетняя дочь ходит по их белградской квартире со стереонаушниками на ушах, чтобы не слышать пожарные сирены и сигналы воздушной тревоги... Пока я с ней говорил, я слышал, как у нее на плите кипит кастрюля и как накрывают на стол. Она спросила у меня, правда ли, что такое-то и такое-то здание собираются бомбить — кто-то что-то слышал по CNN. Видишь ли, — объяснила она, — это всего в полумиле от нашей квартиры...”

Настоящее теоретическое обоснование войне дал Вацлав Гавел в своей приветственной речи, прочитанной на заседании Канадского парламента и перепечатанной “The New York Review of Books”. С точки зрения чешского президента, “это, возможно, первая война, которая ведется не во имя чьих-то национальных интересов, а во имя принципов и ценностей”. Ох уж эти принципы и ценности! Впрочем, полемика с рядом спорных высказываний, содержащихся в выступлении, выходит за рамки нашего обзора, а вот финал речи заслуживает того, чтобы быть процитированным. “Я часто спрашивал себя, почему человек вообще

имеет какие-то права. Я всегда приходил к выводу, что права человека, человеческая свобода и достоинство глубоко укоренены где-то за пределами этого мира. Эти ценности столь сильны, потому что при определенных обстоятельствах люди ... готовы умереть за них, и они имеют смысл только в перспективе вечности и бесконечности. Я глубоко убежден, то, что мы делаем, — пребывает ли это в гармонии с нашей совестью — посланницей вечности, или нет, может быть до конца оценено только за пределами того мира, который мы видим вокруг себя. Есть вещи, которых мы не могли бы сделать, если бы не чувствовали или подсознательно не ощущали этого”.

Уф... Ну, слава Богу, бомбить уже, кажется, перестали. И поскольку потерь с натовской стороны пока нет, то война в американском сознании носит какой-то, по выражению одного из отставных генералов, “виртуальный” характер. И правда, “Звездными войнами”, к примеру, Америка в последний месяц интересовалась куда больше.

“Давным-давно, — пишет Энтони Лэйн, в “Нью-Йоркере”, — в далекой-далекой галактике, люди снимали фильмы про людей, и в некоторых из этих фильмов был какой-то смысл. А потом что-то случилось, и люди стали исчезать из фильмов вместе со смыслом. Поначалу все это выглядело забавно, но постепенно кино становилось все более невменяемым, или, во всяком случае, гипнотизирующе плохим. Весь юмор ситуации в том, что количество зрителей, готовых подчиниться гипнозу, невероятно выросло. Историки этого феномена сходятся на том, что перемены стали необратимыми в самом конце второго тысячелетия, после выхода фильма Джорджа Лукаса под названием “Звездные войны: “Star Wars: Episode I— The Phantom Menace”

А вот в “The New York Review of books” Луис Менанд восхищается блестящей рыночной стратегией Джорджа Лукаса, создавшего идеальное развлечение для восьмилетних мальчиков, и объясняет повсеместное негодование кинокритиков следующим оригинальным образом:

“... крупные голливудские постановки нацелены сегодня, в основном, на преподростковую аудиторию. Кинокритики, начинавшие во времена Годара, Олтмана и раннего Скорсе-

зе, обнаружили себя приговоренными к рецензированию кинематографических качеств детских фильмов. К тому же эти постановки заранее раскручиваются таким образом, что к моменту выхода фильма на экран мнение рецензента практически никого не интересует. Возлагая на Лукаса ответственность за такое положение вещей, критики не так уж и не правы. Потому что “Звездные войны”, каково бы ни было их культурное значение, навсегда изменили кинобизнес”.

Что же касается самого фильма, то хотя, по мнению автора, в нем и есть некоторые длинноты, но тем не менее “всегда ведь нужно какое-то время, чтобы сходить за попкорном (или, возможно, за вкусной пепси-колой). Да и вообще в фильме нет ничего такого, что восьмилетнему могло бы не понравиться”.

Надо сказать, что “юные зрители” сейчас в центре всеобщего внимания. Теперь, когда после кровавых школьных побоищ* стало очевидно, что дети всерьез взялись за оружие, американские масс-медиа вдруг задалась исконно русскими вопросами, а именно: “Что делать?” и “Кто виноват?”, с упором, как водится, на второй части. В этой связи в своем комментарии в “Нью-Йоркере” Адам Гопник остроумно замечает, что главным козлом отпущения почему-то сделали культуру. Причем речь идет не о культуре вообще, а о каких-то разновидностях культуры. Ругают секулярную культуру, культуру насилия, интернет-культуру, детскую культуру, медиа-культуру — список можно продолжать до бесконечности. Но что же имеется в виду под культурой? А, в сущности, ничего. Добавляя слово “культура” к очевидному наблюдению, мы как бы переводим это наблюдение в разряд объяснений. “... люди обращаются к культуре, потому что хотят более глубокого объяснения, чем простая констатация — мальчики были больны и купили себе бомбы и винтовки. Слово “культура” поднимает уровень беседы... В действительности, культурная интерпретация насилия отрывает его от подлинного человеческого опыта. Делая насилие субъектом культуры, мы превращаем боль в ее объект. Но боль — это не объект культуры. Она объект сознания. Ее испытывают люди, каждый сам по себе... Правильной реакцией на события в Литлтоне может быть

только скорбь, а также контроль за распространением оружия... Искать глубинные, тайные объяснения — значит, лишать событие его подлинного значения: страдания, причиной которого оно стало.” А горе родителей, потерявших своих детей, по сути своей не имеет смысла и не может быть “окультурено.”

“The New Yorker” June 7, 1999 “Shooting Pushkin” by Ralph Feinnes

“The New Yorker” May 24, “Comment by Adam Gopnik on Columbine’s culture vultures”

“The New Yorker” May 24, “The Phantom Menace” by Anthony Lane

“The New Yorker” May 10, “The Balkan Physics” by Michael Ignatieff

“The New York Review of Books”, June 24, “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace a film by George Lukas “ by Louis Menand

“The New York Review of Books”, June 10, “Kosovo and the End of the Nation-State” by Vaclav Havel

РУССКИЙ ЖУРНАЛ ([HTTP://WWW.RUSS.RU](http://www.russ.ru))

основан в июле 1997 года.

За время своего существования РЖ приобрел широкую известность как ведущее интеллектуальное издание в отечественной Сети. Ежедневно на сервере Русского Журнала:

- рецензии на новые книги, журналы и учебники;
- новости электронных библиотек русского Интернета;
- последние события политической и культурной жизни;
- аналитические обзоры масс-медиа;
- дискуссионные форумы;
- экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем;
- новости электронной прессы и анализ различных вопросов развития Интернета - в разделе "NET-культура".

**Русский Журнал, 103009, Москва,
Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 36**

Тел.: (095) 201-81-70, 201-80-83, факс: (095) 201-75-51

e-mail: pushkin@russ.ru

НОВЫЕ КНИГИ

Джефф Доусон. Тарантино. Пер. с англ. Е.Виноградовой. — М.: Вагриус, 1999. — 272 с.; тираж 11 000 экз.; серия “Биографии”; ISBN — 5-7027-0859-8.

Как и прежде, издательство “Вагриус” следует главному для себя принципу — актуальности публикуемой литературы. Книга о Тарантино — характерный тому пример. Сейчас, когда ажиотаж вокруг персоны культового режиссера — поначалу всеобщий и хаотичный — улегся и кристаллизовался, а сам Тарантино оказался в рядах голливудского мейнстрима, самое время для выхода книги-биографии.

Содержание не обманывает ни предчувствий, ни ожиданий читателя. Это беллетризованный рассказ очевидца и участника событий Джеффа Доусона о “триумфальном шествии” одержимого киномана от должности продавца видеокассет до статуса “звезды” и создателя “новой американской волны” в кинематографе.

Заметим, что тот образ, который мог сложиться после знакомства с многочисленными и разрозненными журнальными публикациями, по прочтении книги сохраняется, лишь дополнившись подробностями “из первых” рук. Тем не менее биография не напоминает очередной клон “Золушки” — творения Шарля Перро. В первую очередь, разумеется, благодаря нестандартной личности самого режиссера.

Наиболее рьяных поклонников Тарантино порадуют и приведенные в качестве иллюстраций студийные фотографии режиссера с цитатами вроде: “Когда все говорят тебе, что ты тупой и не можешь сделать того, что все могут, начинаешь удивляться...”

Эдвард Радзинский. Кровь и призраки русской смуты. — М.: Вагриус, 1999. — 368 с.; тираж 15 000 экз.; ISBN 5-7027-0928-4.

Книга посвящена трем поворотным пунктам российской истории — правлению Ивана Грозного, кровавым событиям “Смутного времени” и расстрелу царской семьи в 1918 году. Кроме того, в издание включены жизнеописание П.Я.Чаадаева с говорящим названием “На Руси от ума одно горе” и пьеса “Лунин или Смерть Жака”, описывающая последние дни жизни декабриста.

Эдвард Радзинский. Парад богов. — М.: Вагриус, 1999. — 286 с.; тираж 11 000 экз.; серия “Загадки истории”. ISBN 5-7027-0884-9.

Новая книга Эдварда Радзинского представляет собой сбор-

PETROPOL, Inc.

магазин русской книги в Бостоне

На наших полках — тысячи книг. Это художественная литература — античная, классическая и современная, русская и в переводе на русский; биографии, мемуары. Это философская и религиозная литература, книги по психологии, социологии, литературоведению и культурологии. У нас большой выбор детских и юношеских изданий: легенды и мифы народов мира, книги по искусству, подарочные альбомы и календари. Вы можете купить у нас учебники, справочники, словари, пособия и руководства по программированию.

Мы доставляем заказы в любой город США и за пределы страны. Цена доставки \$2 независимо от количества книг (по США).

Заказы направляйте по адресу: 1428 Beacon Street Brookline, MA 02446
tel: (617)232-8820 / (800)404-5396, fax: (617)713-0418, e-mail: petropol@gis.net

Новинки книжного рынка:

Анна Ахматова в записях Дувакина.

К 110-летию со дня рождения Анны Ахматовой вниманию читателей предлагается новый сборник воспоминаний о ней, в большинстве своем ранее не публиковавшихся. Сборник создан на основе записей бесед известного литературоведа В. Д. Дувакина с людьми, близкими знавшими Ахматову (М. Вольпиным, С. Берштейном, А. и Г. Козловскими, В. Василенко, Н. Пахомовым и др.) М.: Наталис, 1999. - 367 с. \$10.95



Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Набоков В. Аня в стране чудес.

Под одним переплетом представлены классическая повесть-сказка английского писателя Льюиса Кэрролла в оригинале и ее перевод-пересказ, принадлежащий перу Владимира Набокова. На англ. и русск. яз. М.: "Радуга", 1999. - 317 с. \$10.95

Рубина Д. Вот идет Мессия!

М.: "Подкова", 1999. - 320 с. Издание осуществлено при участии фирмы PETROPOL, Inc. \$7.95



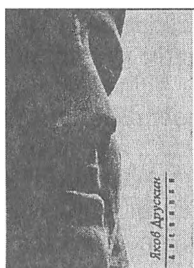


Умберто Эко. Остров накануне. Роман.

Один из крупнейших писателей современной Италии, Умберто Эко известен российскому читателю как автор романов “Имя Розы” и “Маятник Фуко”. Третий крупный роман Эко “Остров накануне” стал безусловным лидером мирового книжного рынка. СПб.: “Симпозиум”, 1999. - 496 с. \$10.95

Sub rosa. Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак.

“Sub rosa” (“втайне”) - под этим названием собраны стихотворения поэтесс Серебряного века, чьи имена мы произносим без привычки, чьи голоса звучат странно и волнующе, и стихи их сверкают из-под покрова тайны... М.: “Эллис Лак”, 1999. - 768 с.: илл. \$10.95



Я. Друскин. Дневники.

Дневники замечательного русского философа Я.С.Друскина (1902-1980) - уникальное философское произведение. Жизнь этого человека – непрерывный духовный труд, отраженный в Дневниках, собрании глубоких и оригинальных философских и богословских эссе. СПб.: “Академический проект”. 1999. - 605 с., илл. \$12.95

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Н.Я. Мандельштам. 192 письма к Б.С.Кузину.

Б.С.Кузин (1903-1972) известный ученый, биолог-теоретик, ламаркист, вошел в историю русской литературы XX века как ближайший друг Осипа Мандельштама. В этой книге Б.С.Кузин предстает не только глубоким мемуаристом и оригинальным мыслителем, но также ярким прозаиком и талантливым поэтом. СПб.: “ИНАПРЕСС”, 1999. - 800 с. (С.Ц.З.) \$19.25



Также в продаже:



CD - \$10.95

ВИДЕО - \$10.95



аудиокассеты - \$4.00

ник эпизодов-притч, главными героями которых оказываются исторические персонажи, люди-символы — Нерон и Сенека, Моцарт, Казанова и Сансон — “исполнитель высших приговоров суда” во времена Великой Французской революции.

Исторические же события выступают в качестве повода и фона внутренних монологов героев, обращенных к не менее масштабным темам: любовь, жизнь и смерть, мудрость и порок и, наконец, свобода и власть.

Милош Форман. Ян Новак. Круговорот. Пер. с англ. Е. Богатыренко. — М.: Вагриус, 1999. — 384 с.; тираж 6000 экз.; серия “Мой 20 век”; ISBN 5-7027-0809-1.

Книга мемуаров Формана — еще один подарок киноманам. О Формане-режиссере написано и сказано немало, теперь у нас есть возможность познакомиться с Форманом-человеком. Учитывая его биографию, это едва ли не интереснее теоретических исследований творчества автора “Полета над гнездом кукушки” и “Амадея”.

Равно увлекательными оказываются и главы воспоминаний, посвященные съемкам “Полета” или “Ларри Флинта”, и те, в которых описывается молодость режиссера в социалистической Чехословакии. Одна из них, повествующая о поступлении Формана в пражскую Академию драматических искусств, так и называется: “Покажите нам борьбу за мир, товарищ Форман”. Скажем больше, на наш взгляд, именно эта часть мемуаров — наиболее занимательна. Работа в шахтерской бригаде, перипетии постановки студенческого мюзикла “Баллада в лохмотьях”, посвященного Вийону. Или фраза, относящаяся к известию о зачислении призвания Формана в пражскую Киношколу: “Чувства, испытанные мною при получении “Оскара”, не идут ни в какое сравнение с тем, что я пережил в тот день”.

Издание проиллюстрировано photographиями из личного архива режиссера.

Алексей Рыбин. Генералы подвалов. — М.: Вагриус, 1999. — 432 с.; тираж 25 000 экз.; серия “Правосудие по-русски”; ISBN 5-7027-0866-0.

В новой серии “Правосудие по-русски”, рассчитанной на мифическое существо, именуемое “массовым читателем”, вышел роман Алексея Рыбина “Генералы подвалов”. Сам Рыбин — человек довольно известный, в прошлом — участник популярнейшей рок-группы “Кино”. Название детектива — а это, между прочим, детектив — содержит явную отсылку к “Генералам песчаных карьер-

еров” (они же “Капитаны песка”) Жоржи Амаду, что, в общем, неслучайно. Герои Рыбина — также беспризорники, которые проходят путь от уличной банды до влиятельной преступной группировки. По мнению издателей, особую ценность роману придает то, что его автор — в отличие от подавляющего большинства российских писателей этого жанра — говорит на языке нынешней молодежи, а это должно привлечь к нему внимание. Очевидно, близость к молодежи символизируют и фотографии на обложке — рука с торчащим из нее “баяном” и стильно небритый молодой человек, затягивающийся “косяком”.

Сочинения Иосифа Бродского. Том V. — СПб.: Пушкинский фонд, 1999. — 376 с.; тираж 10000 экз.; ISBN 5-89803-027-1.

Выхода этой книги ждали чуть ли не с 1996 года, а может быть, уже и не ждали даже, потеряв надежду. Именно тогда “Пушкинский фонд” приступил к изданию восьмитомника Бродского. Однако пауза между третьим и четвертым томами была довольно значительной, а пятый появился только что. Причем из того, что пятый наконец появился, еще не следует, что мы когда-нибудь увидим шестой.

Том составлен из статей, входивших в сборник “Меньше, чем единица”. Значительная часть их уже переводилась на русский и публиковалась в журналах, двухтомнике и недавно вышедшей книге “Письмо Горацию”. Некоторые выходят на русском языке впервые. Тем не менее не только коллекционерская страсть обладателей первых четырех томов сделает пятый — недешевый, между прочим, — бестселлером, несмотря на довольно значительный по нынешним временам тираж. Потому что это — Бродский. И будь там хоть одна новая статья — это уже было бы достаточным поводом для немедленного приобретения книги. Как это писали на одном экстремистском сайте? — “Иди, укради, убей, но купи”...

Илья Кабаков. 60-е — 70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. — Вена, 1999. — 272 с.; тираж не указан; ISBN 3-87690-731-4.

Книга относится к довольно популярному сейчас пограничному жанру, в котором мемуары органично соседствуют с текстами полуманифестарного-полуискусствоведческого характера. Пробором такой литературы можно считать изданную несколько лет назад книгу Шагала “Моя жизнь”.

Собственно, в этом и состоит ее прелесть. Илья Кабаков — художник, давно уже известный всему миру в качестве классика отечественного альтернативного искусства. На западе он куда

более популярен, чем Комар и Меламид, Зверев и многие другие. Теоретических штудий на тему его творчества существует огромное количество на самых разных языках. Тем не менее прочтение этой книги сообщает много нового о Кабакове и о той среде, в которой формировалось альтернативное советское искусство. Это и психологические портреты именитых ныне коллег, и подробности создания тех или иных единиц “золотого фонда” отечественного андеграунда, и сама атмосфера тогдашнего арт-подполья. Прибавьте к этому живой, не перегруженный терминологией язык, отсутствие претенциозности, и перед вами будет книга Кабакова, которую стоило бы назвать “Концептуализм с человеческим лицом” и рекомендовать всем начинающим классикам отечественной живописи.

Владимир Фейертаг. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы. — СПб.: КультИнформПресс, 1999. — 352 с.; тираж 2000 экз.; ISBN 5-8392-0164-2.

Работа принадлежит перу известного джазового критика Владимира Фейертага, одного из авторов первой в России книге о джазе (1960). Кроме того, с середины 60-х Фейертаг выступает в качестве лектора, организатора и ведущего джазовых концертов. По мнению профессионалов, без его участия и поддержки не происходит ни одного сколько-нибудь значимого события в мире отечественного джаза.

Книга представляет собой авторское изложение истории ленинградского джаза — от первого джаз-бэнда Леопольда Теплицкого (1927) до масштабных музыкальных фестивалей 90-х. Заметим, что Фейертаг не ставит перед собой жестких ограничений, и зачастую размышления о ленинградском джазе плавно перетекают в рассказ об отечественном джазе как таковом.

Издание проиллюстрировано архивными фотографиями и снабжено двумя приложениями — подробным перечнем участников проходивших в Ленинграде фестивалей джаза, а также своеобразной справочной галереей персоналий “Кто есть кто на джазовой сцене Петербурга конца 90-х”.

*Обзор подготовлен “Русским журналом” (<http://www.russ.ru>)
специально для “Контрапункта”*

Михаил Володин – журналист, поэт, автор песен – родился в Минске в 1954. Окончил физфак Белорусского Государственного Университета в 1976. Работал в рекламном бизнесе, снимал фильмы для английского и австрийского телевидения, шесть лет редактировал в Минске английскую газету “Minsk News”. Живет в Бостоне (США). Сборник стихотворений “Литературные прогулки” (Минск, 1997).

Антон Долин – радиожурналист, филолог – родился в 1976 в Москве. Окончил филфак МГУ в 1997. Корреспондент радио “Эхо Москвы”. Работает в Институте мировой литературы РАН над исследованием по истории советской повести-сказки. Живет в Москве.

Олег Григорьев (1943-1992) – поэт, художник. Родился в Вологодской области. После изгнания из СХШ при Ленинградской Академии художеств занимался, в основном, литературной деятельностью. При жизни Григорьев получил широкую известность как поэт, хотя у него вышло всего три книги стихов для детей. Основное литературное наследие опубликовано (и публикуется) уже после смерти автора. Преследования литературных чиновников, две отсидки в “Крестах”, многочисленные стихи, распространяемые в рукописях, принесли Григорьеву славу первого, – а по времени, возможно, последнего – поэта ленинградского андеграунда.

Кирилл Кобрин – эссеист, прозаик, переводчик, родился в 1964 в Горьком. Закончил исторический факультет Горьковского университета в 1986. Работает в Нижегородском государственном педагогическом университете. Специалист по средневековой истории Уэльса. Со-редактор литературного альманаха “Urbi” (Н.Новгород-С.Петербург). Автор книги прозы “Подлинные приключения на вымышленных территориях” (Н.Новгород,1995; в соавторстве с В.Хазиным), книги эссеистики “Профили и ситуации” (СПб,1997) (шорт-лист “Антибукера” 1997; номинация на “Северную Пальмиру” 1998). Повесть “Письма из Британии” была номинирована на премию Букера в 1998 году.

Борис Локшин – родился в Москве в 1961. Закончил институт инженеров ж/д транспорта. В 1991 переехал в США. В настоящее время работает программистом. Живет в Бостоне.

Никифор Оксеншерна (псевдоним) – журналист. Родился в Ленинграде, в 1946 году. Кандидат физико-математических наук. Активно участвовал в самиздате. С 1984 по 1989 год жил в Израиле, сейчас живет в Англии. Работал внештатным корреспондентом на радиостанциях Свобода и Би-Би-Си. Печатается во многих русскоязычных изданиях в России, Израиле, США, Германии, а также в парижской Русской мысли.

Лиля Поленова – прозаик, родилась в 1961 г. в Москве. Окончила Московский институт химического машиностроения. Переехала в Америку в 1989 году. Живет в Бостоне. Публикуется в русскоязычной американской прессе. “Друг мой, дружок” – первое крупное произведение автора. “Контрапункт” поздравляет себя, читателей и автора с дебютом.

Вадим Пугач – поэт, родился в 1963 г. в Ленинграде. По профессии – учитель словесности, работает в школе. Как пишет сам о себе – “Автор пьесы, выдержавшей четыре представления, и книги стихов “Шаги командора”, вышедшей тиражом 150 экземпляров”. Живет в С-Петербурге.

Максим Д. Шраер – американский литературовед, родился в Москве в 1967 году. Эмигрировал в США в 1987 году. Закончил Браунский университет и докторантуру Йельского университета. Автор книги “The World of Nabokov’s Stories” (“Мир рассказов Набокова”, 1999), трех сборников стихов и множества статей по литературе. Живет в Бостоне.

Татьяна Толстая – прозаик, училась на классическом отделении филологического факультета ЛГУ, в 1974 году переехала в Москву и работала в Главной Редакции Восточной Литературы издательства “Наука”. Первая публикация – в журнале “Аврора” в 1983 году. Автор двух сборников рассказов: “На золотом крыльце сидели” и “Любишь – не любишь”, а также многих статей, очерков и эссе, частично собранных в книге “Сестры” и изданных под одной обложкой с рассказами ее сестры Натальи. В 1999 году в Москве выйдет новый сборник “Река Оккервиль”. В Америке статьи Татьяны Толстой печатались в журналах “The New York Review of Books”, “The New Republic”, “The New Yorker”. Живет в Москве.

Михаил Яснов – поэт, переводчик, детский писатель. – род в 1946 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет. Автор четырех книг лирики – “В ритме прибора” (1986), “Неправильные глаголы” (1990), “Алфавит разлуки” (1995), “Подземный переход” (1995), десяти книг стихов для детей и многочисленных переводов, в основном из французской поэзии (Сирано де Бержерак, Андре Шенье, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Поль Валери, Гийом Аполлинер, Жак Превьер). Составитель трехтомной антологии французских детских стихов “Поэзия вокруг нас”(1993-1994). Живет в С-Петербурге.

СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна Толстая. Архангел. Роман (отрывок)	3
Михаил Володин. 55 + 5	59
Вадим Пугач. Что касается смерти... Стихи	73
Лиля Поленова. Друг мой, дружок. Роман	78
Письма В. В. Набокова П. А. Перцову (публикация М.Д.Шраера)	124
Никифор Оксеншерна. Пелевин и пустота	136
Кирилл Кобрин. “Горький”: литератор и паровоз	153
Олег Григорьев. Из неопубликованного (публикация М.Яснова)	161
Антон Долин. Гений и злодейство. Очерки культурной жизни	168
Борис Локшин. Америка по-русски	177
Новые книги. Обзор	183
Сведения об авторах	189

SUMMARY

Archangel – is the first attempt to create a novel of today's most famous Russia's story-teller **Tatiana Tolstaya**. In writer's opinion it is unclear if this novel will ever be finished. Despite of this, the piece which is being published should be interesting for the reader because of its eloquent language, and the theme itself: the fallen angel that serves his punishment on Earth.

The editor of *Kontrapunkt* **Mikhail Volodin** has met with **Maria Rozanova** – the editor of Parisian *Syntaxis* and the widow of the writer Andrey Sinyavsky. The meeting went in a friendly atmosphere, and, by all means, on a high level. The editors were drawing birds together on the walls of New York City buildings. It is reflected in the material published in the magazine.

Vadim Pugach, when telling about himself, informs that he wrote a play which was staged four times, and self-published a poetry book in the amount of 150 copies. That is why the present publication might be considered as a debut of this talented poet from St. Petersburg.

Friend, My Dear Friend – a novel and a literary debut of **Lilya Polenova** who lives in Boston. The novel tells about lives of young people who in the late 80-th had to face a difficult decision: "to leave – or to stay". The story unfolds in Moscow and New York City. This novel could of been classified as traditional immigrant prose if it was not for an unusually detailed presentation of the Moscow's life in the time of "perestrojka".

Eleven previously unpublished letters of **Vladimir Nabokov** to **Peter Pertsov** help to understand the way Nabokov felt towards his writings. They give the reader a chance to experience the great master's system of work. Peter Pertsov is an interpreter who translated into English such known short stories as *Cloud, Castle, Lake, The Aurelian*, and *A Spring in Fialta*

Only three books of children's poems were published during the lifetime of **Oleg Grigoriev** (1943-1992), but even these books brought the poet wide popularity which was intensified by foolish attacks of soviet literary bureaucrats. The books that were published after his death already determined his place in Russian culture. His name belongs next to the best names in Russian poetry of the sixties through eighties. Included in this collection are poems that were not published before.

Victor Pelevin has rightfully got the name of the mostly read and mysterious Russian writer. In this issue of the magazine we publish a story about Pelevin's two meetings with his readers in London. The author talks about his childhood, school years, and how he began his writing career. Answering the questions Pelevin touches upon his relationship with other writers and shares his thoughts about contemporary Russian literature.

In his essay *Gorki: The Litterateur and The Steam-engine* **Kirill Kobrin** shares his thoughts about the nature of many known pen-names.

In addition to *Kontrapunkt's* two traditional reviews that reflect on new books and events of Russian cultural life there is a new rubric. In this issue we have started another topic – *America through Russian eyes*. In this review, based on the publications in *New Yorker* and *Atlantic Book Review*, **Boris Lokshin** reveals a picture of cultural events in American life.

Вы прочли журнал
до конца.

Начните сначала —
и подпишитесь!

М. Володин

июль 99.

В ближайших номерах:

Марина Бородицкая

Даниил Гранин

Наум Коржавин

ЛЕВ ЛОСЕВ

Александр Мелихов

Нина Садур

Михаил Щербаков

Ефим Эткинд